

РОССИЙСКАЯ ПРОЗА

РОМАНЫ

Юрий
БОНДАРЕВ



БЕРЕГ
ТИШИНА

Юрий Бондарев
Берег. Тишина (сборник)

«ИТРК»
1962, 1974

ББК 84(2 Рос=Рус)6

Бондарев Ю. В.

Берег. Тишина (сборник) / Ю. В. Бондарев — «ИТРК», 1962,
1974

В это юбилейное издание включены два романа «Берег» и «Тишина», получившие высокое общественное признание в СССР. В них раскрывается жизнь людей, их боевые, духовные, нравственные качества в период военных испытаний и мирного труда. Автор через своих литературных героев представляет читателю возможность оценивать достоинства личности по их мужественным, волевым, смелым действиям и поступкам.

ББК 84(2 Рос=Рус)6

© Бондарев Ю. В., 1962, 1974

© ИТРК, 1962, 1974

Содержание

Юрий Бондарев	6
Часть первая. По ту сторону	8
Часть вторая. Безумие	56
Конец ознакомительного фрагмента.	115

Юрий Бондарев

Берег. Тишина

© Ю. В. Бондарев, 2014

© Издательство ИТРК, 2014

Юрий Бондарев
Берег
Роман



В романе Ю. В. Бондарева «Берег» рассказывается о проблемах войны и мирных дней, о поиске социально-нравственного своего «берега», который будет определять жизнь человека.

За роман «Берег» автору в 1977 году присуждена Государственная премия СССР.

Часть первая. По ту сторону

1

Воздушный лайнер гудел реактивными двигателями на высоте девяти тысяч метров, и здесь, в солнечном арктическом холоде, за толстыми стеклами иллюминаторов сияли глыбами, проплывали по горизонту ослепительно сахарные айсберги, а где-то в белой глубине, ниже их, закрытая сплошной льдистой грядой облаков, оставалась как бы потерянная земля.

И хотя сознанием измерялась страшная глубина под чуть-чуть вибрирующим, неуклонно летящим в поднебесье полом, в теплых салонах стало оживленно, уютно от солнца, от наконец начатого удачно полета после ожидания на аэродроме. Везде потянулись, заслоились по салону в плоских сверкающих лучах легкие, особенно душистые сейчас дымки сигарет, пассажиры расстегивали привязные ремни, откидывали поудобнее спинки мягких кресел; везде зашуршали разворачиваемые газеты, розданные двумя очаровательными своей молодой строгостью и нежными, приглашающими улыбками стюардессами (будто сказочно сошедшими с реклам международных рейсовых расписаний); досасывались взлетные карамельки, которые несколько минут назад они с теми же пленительными улыбками разносили на подносиках; потом уже в разных концах салона зазвучала русская и немецкая речь – мирно обволакивала общая дорожная успокоенность, безмятежное ощущение дорожного комфорта, надежда, что все обещает быть незатруднительным, удобным, как бывало и будет всегда.

Это освобожденное чувство оторванности от всего домашнего, будничного, первоначально возникшее на аэродроме и теперь раскованно-приятное в самолете, среди открывшейся солнечной высоты за иллюминаторами, приглушенного рева мощных двигателей, услышанной чужой речи, среди благостного салонного рая, ритуально освященного ласковыми улыбками длинноногих стюардесс, этих непорочных ангелов-хранителей душевного покоя в небе, – чувство не отягощенного заботами полета было знакомо Никитину, и он сбоку вопросительно взглянул на Самсонова – вместе им летать не приходилось ни разу.

Самсонов, еще опоясанный по круглому животу застегнутым ремнем, с рассеянным любопытством поворачивал голову к соседним через проход креслам – там, перелистывая на коленях журналы, громко разговаривали три пожилые, туристского вида немки, указывали дымящимися сигаретами на занавеску впереди салона, куда ушли стюардессы. Сквозь звон двигателей Никитин разобрал слова «эссен», «фрюштюк» и сказал весело – хотелось говорить о пустяках:

– Платоша, не прислушивайся к чужому разговору. О чем они? О завтраке, как я догадливо сообразил, который сейчас неизбежен? Неплохо было бы закусить холодной курицей и выпить минеральной.

– Немочки умирают от голода, – ответил, вздыхая, Самсонов. – Говорят о том, что давно позавтракали в гостинице «Метрополь» и не мешало бы подкрепиться. Они из Кельна. Милые создания... Только услышу эту речь, и срабатывает рефлекс. Интоксикация. В войну я с ними наговорился – сыт на всю жизнь...

– Нет, Платон, холодная курица после коньяка – это вещь в самолете незаменимая.

Самсонов отпустил ремень, пошарил кнопку для откидывания спинки кресла, неуклюже откинулся, долго сопел, обратив к Никитину широкоскулое свое лицо, вглядываясь усталыми, иконными глазами – обычной колючести не было в них, а была грустная подозрительность интереса узнать причину вот этой шутливой фразы Никитина, словно бы исповедующего сейчас этакую философию бездумного туриста, беспечно полулежащего в кресле и занятого лишь мыслью о холодной курице и минеральной воде.

- Я вижу, Вадим, что ты доволен началом одиссеи. Н-да, что-то будет.
- А знаешь, я рад, что лечу к немцам именно с тобой, Платоша, – сказал Никитин.
- Взаимно, – пробормотал Самсонов. – Это чувство имеет место.

Они были знакомы лет пятнадцать-семнадцать. В течение этих лет их пути нередко перекрещивались и зачастую соединялись, книги обоих выходили почти одновременно. При всей разительной несхожести манер – жесткой эмоциональности, нервной обнаженности Никитина и спокойной, выверенной прозы Самсонова, что непостижимо противоречило внешним проявлениям обоих, – их довольно прочно упоминали рядом в одних и тех же критических статьях о послевоенном поколении, и хотя оба они понимали ни в чем не совпадающую разность, их постоянно тянуло друг к другу – это объединенная одним опытом судьба поколения военных лет и что-то еще, за долгие годы знакомства не угаданное в общении, порой скрытое иронической полушуткой, даже в вечерних телефонных разговорах, приблизительно таких: «Загордился, Вадимушка? Не звонишь? Лежишь на диване, покуриваешь и пожинаешь лавры? Когда ты успеваешь повести строгать, классик? Негров нанял? Прочитал, прочитал. Профессор твой – ничего, девка на переправе с узкими глазками тоже ничего, а генерал – совсем не в дугу, интеллигентик он у тебя, таких не было. Вот подожди, закончу свой опус – младенцами вы все окажетесь». – «Не сомневаюсь, Платоша, и жду потрясений». – «Подожди, Никитин, подожди, еще будешь проливать горячие слезы над моими страницами, – смеялся по телефону Самсонов, после чего на память говорил короткую мускулистую, прекрасную фразу, нагруженную настроением и смыслом. – Ну, позавидовал? Рвешь волосы? Вот так, ребятушки мои, писать надо. Три года обдумывал конец. Эх, какие вы ребенки еще!»

Самсонов работал чрезвычайно медленно, по строчкам, по абзацу в день, в сомнениях выдавливал слова с трудолюбивой мукой, веря и не веря в их силу, ненавидя эпитеты и все же густо насыщая ими фразу, до предельной тесноты, но при этом был всегда тонок, особо прелестен конец вещи, последние главы. Однако, когда говорили ему о некоторой стилевой перегруженности, он держался за каждое слово, защищал его сопротивлением бычьим, багровел, загорался гневом, устраивая затяжные скандалы с редакторами издательств, и иные критики побаивались его неудержимых взрывов, ударов «под дых», иные считали его неудобоваримым крикуном, не стесняющимся грубых «кавалерийских наскоков» на собратьев по перу, ибо иногда, по случаю, встретив в кулуарах клуба какого-нибудь неосторожного критика, он кричал ему вспльчиво:

– Артельные Сократы вы, домашние правдолюбцы, жуете и пережевываете оскоминные аксиомы за рюмкой водки? Вам нравится косноязычный телеграфный стиль? Я не телеграфист! Я слишком подробен? И останусь таким! Мне наплевать и позабыть все, что вы пролепетали здесь! У меня диспепсия от вашего модного словотечения, от вашей менструации мысли. Я вас нежно люблю и обнимаю. Я иду в аптеку и покупаю касторовое масло для очищения желудка!

Эта раздражающая многих упорная неподдаваемость Самсонова, наживавшая ему недоброжелателей и вместе почитателей (твердость уважают), более всего приближала к нему Никитина – в этом была военная косточка прошлого, та самонадеянная уверенность, что так необходима была тогда... После первой книги он привык к тому, что Самсонов ревниво, с особенным пристрастием читал его, скупно хвалил и ругал, вроде бы удерживаясь высказать окончательное суждение, причем толстоватое лицо возбужденно покрывалось красными пятнами, глаза под стеклами очков становились влажными, грустными, горячечными. И в те минуты представлялся почему-то Никитину его кабинет, неуютный, сумрачно темный от громоздких книжных шкафов, от старинного, с чудовищно массивным чернильным прибором письменного стола, заваленного безалаберно рукописями, книгами, кругло и мелко исписанными листками бумаги, на них виднелись кольцеобразные следы, оставленные чашками кофе, который он беспрерывно пил во время работы, представлялась широкая тахта в углу, и его муки за этим сто-

лом и на этой тахте, где он, обессиленный, лежал, уткнувшись лбом в подушку, мыча, бормоча что-то в поисках слова, фразы, – так Никитин застал его однажды, зайдя утром в часы работы.

И стоило лишь вообразить страдания Самсонова перед чистым листом бумаги, его попытку неуловимым словом, как Никитин испытывал почти стыдливое чувство – он заставлял себя сидеть за столом часов по девять, но писал легче, быстрее, независимо от нескончаемой правки, и если процесс работы Самсонова можно было назвать мучительной каторгой (четыре часа в день), то его работа была каторгой двойной по протяженности, но все же гладкой. Поэтому, когда речь заходила о книгах Самсонова, он был чересчур мягок и полусхвату говорил в таких случаях, что принимает и закономерность усложненной фразы, так как упрекать, пожалуй, следует только писателей-скворцов, беззастенчивых имитаторов чужих звуков, выдаваемых за найденные истины. Он, не желая обидеть Самсонова, не переступал порог полной искренности.

– ...Черт с ними, с немками и завтраками, – сказал Никитин, шире раздвинув шторку на окне. – Посмотри-ка на солнце, Платон, и к вечности прикоснись, земные заботы забыв... Ничего себе, дуо гекзамером, кажется, отбиваю хлеб у поэтов?

– Боюсь, начнешь сейчас рвать арии из оперетт на весь салон, – бормотнул Самсонов. – Чему восторгнулся?

– На земле осень, туман, а тут – чистота, голубизна, никакой осени – вот что прекрасно, Платоша!

За иллюминатором слепил в холодном пространстве металлический блеск высотного солнца, рафинадные торосы, курчавясь, неподвижно сверкали краями остропиковых вершин на бесконечной белой равнине застывших внизу облаков. В воздухе отовсюду излучался неограниченный снежный свет, этот свет ходил вместе с солнцем по салону самолета, пронизывая дымки сигарет над спинками откинутых кресел.

Самсонов нарочито равнодушно склонился на ослепляющее стекло иллюминатора, проговорил:

– Лучше скажи вот что... Литературное общество в Гамбурге, что за фрукт, что за такая штука? Какой ориентации? Задвинь занавеску, глаза режет...

Никитин наполовину задернул скрипнувшую рамками шторку, спросил:

– Что именно тебя беспокоит?

– Хотел бы я знать, в какие западногерманские руки мы попадем. Тебя это не беспокоит?

– Насколько мне известно из писем некой фрау Герберт, они приглашают для встреч прогрессивных писателей мира. В том числе из Восточной Европы. Были поляки – мы приглашены вторыми. Но ты это знаешь.

– Положим. В общих чертах. А кто такая фрау Герберт?

– Не имею понятия, – ответил Никитин и написал пальцем на стекле невидимую фамилию «Герберт». – Судя по написанию фамилии, старушенция в белом кружевном воротничке, благородного, аристократического воспитания, влюбленная в русскую литературу – Достоевский, Чехов, Толстой, – ну да вот прочитай ее последнее письмо...

Он достал записную книжку, вытянул из середины сложенное четверо письмо, и Самсонов развернул глянцеви́то-белую бумагу, плотно заполненную машинописным текстом, пошевелил бровями, стал читать, переводить, комментировать вслух.

– «Глубокоуважаемый господин Никитин! (Ах, ты, оказывается, господин. Ну, тогда все ясно... Как это тебя раньше не разглядели, при папе, не вывели на чистую воду?) Литературный клуб города Гамбурга имеет функции встречаться за круглым столом... (Как модны стали эти круглые столы, нет, не за столом, а на тебе – за круглым... по темноте своей понял: значит, без острых углов) с писателями стран Европы, обмениваться мнениями о современной культуре, проводить дискуссии на тему „Писатель и современная цивилизация“ в атмосфере дружелюбия, независимо от того, в какой стране живет писатель – в системе западного капитализма

или восточного коммунизма. Три ваших новеллы, господин Никитин...» (Новеллы, господин Никитин, смею вам заметить, по-европейски – романы, запомните, глубокоуважаемый.)

– Продолжай.

– Продолжаю... «переведены в Западной Германии издательством „Вебер“, о вас писали в журналах „Штерн“, „Шпигель“ как о восходящей звезде на Востоке, и ваша последняя новелла „Дорога назад“ пользуется у нас большим успехом...» (Ты смотри, что делается, стал любимцем западной публики. Покорил Запад, посшибал всех с ног своей «Дорогой...» и еще сидит со скромным видом, как простой смертный!).

– Ерничай, ерничай, но мотай на ус.

– «...в среде интеллигенции и молодежи, и мне приятно сообщить вам, что в моих книжных магазинах за две недели были распроданы все экземпляры...» (Ого! Готовь чемоданы для гонорара. Хоть шерсти клочок... Разорь капитализм дотла, пускай их по миру с протянутой рукой.)

– Читай, читай.

– «...Известный профессор литературы и критик из издательства „Родволь“ доктор Кунц определил ваш талант как трагический, он писал, что у вас два кровных отца – Достоевский и Толстой, а между тем я думаю, что вам гораздо ближе Чехов, хотя конец последней новеллы очень тяжелый, вы так омрачаете сердце! Вы так безжалостно погубили в начале войны своих героев, что слезы выступают на глазах и с печалью долго не расстаешься. Это так грустно». (Вот тебе и фрау, выдала по первое число, как какой-нибудь бодренький критик. Пессимист ты, оказывается, певец трагических сторон!)

– Как видишь.

– «...Простите, господин Никитин, за очень смелое с моей стороны замечание, но оно ведь высказано в личном письме, и если оно вас сколько-нибудь обидело, не обращайтесь внимания. Писатель не должен никого слушать, кроме себя...» (О, эта фрау, оказывается, с хитрецой, ввинтила мысль о независимости писателя! Уже начала дискуссию – и все тут.)

– Читай дальше.

– «Литературный клуб хочет, чтобы вы посетили нас, и послал вам приглашение двадцатого августа, но ответа от вас до сих пор не получили. Очень прошу вас ответить, как скоро можете вы быть в Гамбурге. Если у вас есть возможность посетить наш город в срок между десятым и двадцатым ноября, то мы сделали бы все, чтобы ваше пребывание у нас было приятным. Если вы не разговариваете на немецком языке, то мы будем рады вашему приезду с переводчиком. Примите с уважением и признательностью привет от вашего издателя, господина Вебера. С самыми наилучшими пожеланиями и ожиданием вас. Госпожа Герберт, член Литературного клуба. Пэ-Эс. Сообщите перед вылетом рейс самолета, и на аэродроме в Гамбурге я встречу вас. Надеюсь, я узнаю вас по фотографии в вашей книге, в том случае, если вы, конечно, сильно не изменились».

– Любопытно и занятно, – сказал Самсонов, возвращая письмо Никитину, и, потянув воздух носом, возвел грустные, иконные глаза к потолку салона. – Будут рады и переводчику. В качестве инкогнито из Иностранной комиссии. Красиво! Я – переводчик. Вдвойне красиво! Бросил собственный роман на сто двадцатой странице, лечу в Гамбург, страдаю из-за тебя, как дурушлеп. Во имя каких благ? Не хватит коньячку, чтобы расплатиться со мной. Так-то! Но зачем я тебе как переводчик? Ты сам способен лезен унд шпрехен дойч! Для свиты, что ли, предложил меня?

– Мои знания в немецком языке по сравнению с твоими – горькие рыдания, – ответил Никитин. – Я хотел, Платон, чтобы именно ты поехал со мной. И не в качестве переводчика. Это проформа для Иностранной комиссии. Вдвоем нам будет легче во всех смыслах.

Самсонов снял очки и, кулаками протирая глаза, шумно зевая, заговорил фальшивым сквозь зевоту голосом:

– Жалко мне тебя, господин Никитин, что-то подозрительно шибко начали ласкать тебя на Западе. Смотри – головка не закружилась бы. Не вознесись в гордыне, не выпрыгни из штанов. Это я по поводу письма и прочая... Опасаюсь – кино тебя развратит, легкие деньги и всякие западные поклонницы типа госпожи Герберт. Паришь, как ангел, не приземлись, как черт.

Он снова зевнул, широко, по-сомовьи распахивая рот, отчего получилось растянутое завывание «аха-ха-ха-а», и Никитин засмеялся, сказал:

– Постараюсь следовать твоим руководящим указаниям, Платоша. Зеваешь же ты в высшей степени гениально. Неужели спать?

– Так вот, звезда Востока, вникни во все, рассчитай, подумай, сообрази, как жить дальше, а я минут пять шляфен, шляфен...

Самсонов скрестил руки на груди, прикрыл веки, глубоко дыша носом, лицо стало отрешенным, страдальчески сердитым, какое бывает в моменты отдыха у переобремененных постоянными заботами людей. Он задремал или хотел задремать после усталости суетных волнений, аэродромного ожидания, долгих разговоров, и толстоватые руки его, скрещенные на груди, его поза выражали покойное достоинство знающего себе цену человека.

«За кого сейчас его можно принять? – подумал Никитин, веселея, представив чужой взгляд на Самсонове. – Состоятельный отец семейства. Благополучен, обаятелен в своей полноте, дела идут хорошо. Чем-то озабочен, хотя все стабильно. Что еще? Благоразумен, аккуратен, любит порядок в своем доме. Портрет не сомневающегося в истинах человека. Литературные реминисценции. Но почему я подумал об этом? Да потому, что отлично, – мне будет легче с ним...»

2

Еще чувствовалось подрагивание, невесомое ныряние пола самолета, еще звучал в заложенных ушах звенящий рев двигателей при посадке, поэтому, когда вместе с группой пассажиров они вошли через пневматические двери в стеклянное здание гамбургского аэропорта, окликнувший женский голос нечетко дошел до них:

– Господин Никитин?..

Довольно высокая, в темном костюме женщина лет сорока, с прядями чистой, аккуратной седины в каштановых волосах, улыбаясь им издали, сразу же быстро направилась к обоим из толпы встречающих около дверей первого зала, и Никитин, тоже улыбаясь, поставил тяжелый от четырех бутылок коньяка портфель, не вполне твердо проговорил на немецком языке:

– Госпожа Герберт! По-моему, я не ошибся? Здравствуйте! Да, я Никитин. А это мой друг – писатель Самсонов. (Самсонов, чрезмерно корректный, сдержанно кивнул ффрау Герберт.) Значит, вы все же узнали меня? По фотографии? Неужели?

– Да, да, господин Никитин. Я очень рада, что вы приехали! Мы так долго ждали вашего приезда! Мы уже потеряли всякую надежду...

Она неожиданно крепко ответила на его рукопожатие, она смотрела ему в лицо, и в ее молодых, не соответствующих седине, возбужденно-радостных синих глазах мелькало подавленное улыбкой выражение, похожее на испуг и растерянность. Она повторяла:

– Да, да, господин Никитин... Я прошу вас к машине. Она здесь недалеко. Нет, сначала мы получим вещи. Как вы чувствуете себя после самолета?

– Терпимо, – ответил Никитин. – Спасибо. Кажется, живы оба.

И когда, получив вещи в зале багажа, вышли из здания аэропорта и ффрау Герберт, не расслабляя на губах улыбки, незамедлительно повела их к стоянке машин, Никитин заметил, как на ходу она излишне торопливо и нервно принялась дергать, расстегивать замочек сумочки, доставая, по-видимому, ключик зажигания.

– Господа, только одну минуту... Мы сейчас поедem в отель. Чемоданы, пожалуйста, в багажник. Если вам удобно, господин Никитин, то сядьте рядом со мной. Так будет лучше разговаривать.

Машина госпожи Герберт, новый, весь влажно отливающий лаком вишнево-коричневый «мерседес», была удобна, вместительна – погруженные два чемодана поглотил огромный багажник, и здесь, в машине, сев возле фрау Герберт, Никитин внятно почувствовал пряный запах невыветренных духов, разбавленный горьковатой химией синтетической обивки, запахи чужой жизни, чужих вещей, всегда обостренно воспринимавшиеся им вдали от дома, и подумал томительно: «Вот я и опять за границей».

– Сигарету? – спросила фрау Герберт. – Господин Никитин? Господин Самсонов?

– Спасибо, я до чертиков накурился в самолете. Подожду.

– Аналогично, – ответил Самсонов. – Воздержусь.

А она, снова торопясь, подергала замочки, расстегнула на коленях сумочку, тотчас вынула пачку сигарет, зажигалку, закурила с жадностью, выдохнула дым, толкнувшийся в ветровое стекло, потом стала натягивать перчатки, тесные, скрипящие тонкой кожей.

– Простите, одну минуту... – проговорила она. – Вы первый раз в Гамбурге, господин Никитин?

– Вы спросили, первый ли я раз? Да. Я вас прошу, фрау Герберт, говорить медленно. Иначе не пойму, с непривычки.

Она виновато поморщилась, на левую руку ее тугая и узкая, как змея, перчатка полностью не натягивалась, никак не поддавалась – тогда она сорвала ее с пальцев, скомкала, бросила на сиденье, к сумочке, и спросила очень медленно, поворачивая машину на мокрый брусчатник мостовой:

– Но хоть раз... когда-нибудь вы были в Германии, господин Никитин?

– Был в войну. Сорок пятый год, фрау Герберт.

– В Берлине?

– Нет, в трех городах. Берлин, Потсдам, Кенигсдорф. Однако Кенигсдорф – это дачный, маленький городок, вы можете его и не знать, – сказал Никитин.

– О боже мой, вы были в Германии! – одними губами выговорила она и, неуголенно затягиваясь сигаретой, спросила, выделяя каждое слово: – Скажите, господин Никитин, неужели мы все еще помним, что была война?

– К сожалению, фрау Герберт.

Он отвечал ей так же замедленно, вникая в звук немецкой речи, в растягиваемые ею точно на домашнем уроке фразы, и, отвечая, не без интереса глядел по сторонам на сумрачно-серый, ноябрьский, сыплющий мелким дождем город, насквозь сырой, набухший влагой, прижатый низко огрузшим над крышами пепельным небом, на рано зажженный свет за витринами магазинов, на непрерывное движение черных зонтиков по тротуарам, на их густое скопление на переходах под светофорами.

Он смотрел на обмытую, еще не по-осеннему зеленую траву тщательно подстриженных газонов, по которым ходили нахохлившиеся чайки, и подсознание привычно пыталось задержать и ту морскую сырость, и сумеречность осенних улиц, и это скольжение мимо витрин одинаково влажных креповых зонтиков в туманце дождя, и механическое мигание на перекрестках светофоров, сразу сдерживающих и сразу выпускающих в ущелья улиц одержимые скопища машин. Непроизвольное запоминание, эгоистическая работа подсознания были второй сущностью Никитина, хотя он и знал, что многое, к сожалению, забудется позже, останутся лишь размытые временем детали или первые запахи, как запах химии и духов в машине, или вот этот быстрый жест, каким сорвала тесную перчатку фрау Герберт после того, как попыталась и не хватило терпения натянуть ее до конца, или как жадно прикурила она от крошечной золоченой зажигалки, дрожавшей в руке.

Он поглядел на нее вопросительно. Она нервным жестом стряхивала пепел с сигареты в выдвинутую пепельницу, невнимательно остановив взгляд на водяной пыли, лужицами оседающей на капоте, и Никитин, разом ощутив промозглую влагу гамбургских улиц, постукивание капель по зонтам, запах синтетических плащей в теплоте магазинов, где уже бледно горел внутри неоновый свет, сказал по-русски:

– Как осенний день на Невском. А, Платон?

– Кисель, – отозвался Самсонов, завозившись за спиной. – Гамбургские прелести. Дождя нам не хватало еще здесь. Не могу, знаешь ли, с некоторых пор относиться к чертовой мокряди с равнодушием утки. Опасаюсь закряхтеть от радикулита.

– Простите, пожалуйста, за интермедию на русском языке, – сказал Никитин, обращаясь к госпоже Герберт, и пощелкал пальцами, подбирая фразу: – Мы говорим о том, что старые солдаты не любят осень. Потому что осенью начинают болеть раны. Грустная пора... – добавил он полушутливо. – Вы понимаете?

Было похоже, она поняла его, даже уловила нечто большее, что он не вкладывал в свою фразу. Она взглянула пристально, дрогнула мягкими линиями бровей, четко темными по сравнению с белыми прядями волос, сказала пресекающимся от затяжки сигаретой голосом:

– Наверно, господин Никитин, мы все переживаем грустный возраст осени, когда ушло лето. Но после осени наступает зима. И тогда еще хуже. Зимой всем людям бывает так холодно... И даже у вас в России. Ведь возраст человека не имеет государственных границ.

– Вероятно, – усмехнулся Никитин. – Здесь никакие русские валенки не спасут.

«Дворники» с однотонным трущимся звуком махали по стеклу, равномерно растирали мелкую, почти невидимую пыль нудного дождя; обдавая влажным шелестом, мимо запотевших окон справа и слева настигал, обгонял, проносился, гудел моторами соединенный металлический поток машин, нетерпеливо выбрасывая бензиновые клочья тумана на чернильный асфальт, устланный прилипшими листьями; и все так же скапливались, скользко блестели, толпились, бежали намокшие зонтики через переходы на перекрестках. Эти ноябрьские улицы Гамбурга, затянутые ненастными сумерками, с неуточным светом в магазинах и барах, вдруг показали Никитину совершенно промозглыми, тусклыми, обволакивающими машину знобкой сыростью – и захотелось скорей в отель, в теплый номер, уютный своей чистотой, тишиной, свежей постелью, захотелось переодеться, побриться, как обычно на новом месте, и сойти потом в ресторан, посидеть за чашечкой горячего, душистого кофе и тут обстоятельно расспросить фрау Герберт о дальнейшей программе, связанной с их приездом. Но при выговоренном ею слове «Россия», как это часто бывало за границей, он вообразил где-то очень далеко в скромном блеске московских фонарей вечерние переулки Арбата, оставленное им позади неизмеримое пространство, отделившее его на некий срок от забот, обязанностей, ежедневной работы за столом, к которому вернется, уже мучимый угрызением совести, уже невыносимо соскучась по дому, по кабинету, по притягательному и страшному в ожидающей непорочной тайне приготовленному листу бумаги, – и, вмиг представив сладкое удовольствие своего возвращения и пытаясь вновь настроиться на волну разговора, сказал, скрупулезно соблюдая грамматическое построение:

– Если говорить о моем поколении, фрау Герберт, то молодыми, неунывающими и особенно счастливыми мы были весной сорок пятого года. Война кончилась. Все начиналось. А нам было чуть больше двадцати. Вот это было прекрасно. Я почему-то об этом подумал, фрау Герберт.

– Мальчишка, – басовито подал голос Самсонов. – Мне уже в ту пору стукнуло двадцать четыре. Экое ты дите был. Интересно: детские пеленочки не возил в передке орудия?

– Больше того, патриарх, пеленки сушили на оружейных стволах после каждого боя... Извините, фрау Герберт, мы опять обменялись со своим другом любезностями на русском языке. Любезностями солдатского толка.

Она промолчала, струей выпуская дым в ветровое стекло.

– Но... можно надеяться, вы и сейчас не унываете, господин Никитин, – осторожно проговорила фрау Герберт. – Вы, я думаю, счастливы, здоровы. У вас ровное, хорошее настроение...

Никитин не совсем точно поймал оттенок смысла последней фразы и пощелкал пальцами, попросил помощи у Самсонова:

– Платон, будь добр, последнюю фразу переведи на язык родных осин. У меня всегда хорошее... и какое настроение?

– Ровное настроение, счастливый господин Никитин, – уточняя, перевел Самсонов и испустил носом протяжный звук: – М-м... Добавлю: производишь впечатление легкомысленного человека, учти на будущее. Если от желчи болтаю пошлости я – мне начхать, тебе не позволено. Неси на себе печать счастливой солидности, классик. Так-то!

– Благодарю, ясно. Теперь переведи-ка мой ответ, я могу напутать, сложный оборот, черт его дерит, – сказал полусерьезно Никитин. – Простите за грубость, госпожа Герберт. Но кажется мне, что в моем возрасте ежесекундно и непробиваемо счастливыми могут быть лишь самодовольные дураки. Ровное же настроение спасает от многого. В том числе и от самого себя. Правда, не всегда удается.

– Я не хотела, господин Никитин...

Она обвела его лицо удивленно расширенной синевой глаз и, не закончив фразу, поспешно заговорила о другом:

– Господа, мы скоро подъезжаем. Вы будете жить в старинном и уютном отеле «Регина», который вам должен понравиться. Это за углом, господа.

Она остановила машину перед стеклянным подъездом отеля в узкой, заросшей деревьями улице, сравнительно отдаленной от непрерывно шелестящего шума, от режущего потока машин, в котором все время двигались по городу, и здесь, взяв чемоданы из багажника, они вошли в просторный пустынный вестибюль, застланный коврами, по-особенному тихий, где не слышен был даже бегущий по асфальту стук дождя. Отовсюду повеяло домашними запахами старой мебели, устоявшимся покоем, и, выражая услужливую приветливость на упитанном вежливом лице, вышел навстречу из-за стойки человек («Гутен та-аг!»), тоже по-домашнему спокойный, размеренный в каждом жесте. Он шепотом сказал что-то утвердительное фрау Герберт, воспитанным кивком пригласил Никитина и Самсонова к стойке, попросил паспорта и после минутной процедуры заполнения регистрационных бланков уважительно вынул из круглых гнезд ключи номеров с прикрепленными к ним маленькими деревянными грушами, подхватил чемоданы и, отражаясь в зеркальной стене, пошел к лифту в глубине вестибюля.

– Большое спасибо. Вы нас прекрасно довели, фрау Герберт, – сказал Никитин. – Каково теперь дальнейшее?

– Говорить медленно, господин Никитин?

– Пока да, мне надо еще привыкнуть. Иначе замучаем переводом господина Самсонова.

Она улыбнулась.

– Я думаю, вы устали после самолета и вам нужно отдохнуть. Но вечером я буду очень рада видеть вас у себя дома. Я заеду в семь часов. Теперь... пожалуйста, посмотрите свои комнаты, если хотите, переоденьтесь и спускайтесь вниз минут через десять. Я буду ждать вас в ресторане. Разрешите мне немножечко выпить с вами. Как это? На ваше здоровье-е-е? – порусски добавила она протяжно и с некоторым смущением шелкнула пальцами, как это делал Никитин, отыскивая немецкие слова. – Так по-русски? Или я ужасно сказала?

– У вас прекрасное произношение, фрау Герберт. Через десять минут мы внизу.

В скоростном лифте они поднялись на пятый этаж и, выйдя в напоенный теплом длинный коридор, зеленеющий пушистой синтетической дорожкой, быстро нашли номера своих

комнат, расположенных рядом: двери предупредительно полуоткрыты, ключи в замках, чемоданы внесены.

В номере Никитина было по-осеннему сумеречно, и легонько, вкрадчиво царапали капли дождя по стеклу. Никитин снял плащ, нашел выключатель, зажег свет – и тут же пленительно засверкали свежестью, чистотой два белоснежных конверта-постели на широкой двуспальной кровати, выделились стерильной белизной подушки, казавшиеся даже на вид успокоительно-нежными, манящими покоем под кокетливыми в изголовье абажурчиками наподобие юбочек; полированно засияли деревом большой бельевой шкаф, полуписьменный, с конторками и приемником стол на тонких ножках, журнальный столик, осененный розовым куполом торшера, в окружении трех мягких кресел.

«Все педантично начищено и прибрано по-немецки», – подумал Никитин, развязывая галстук, и прошел в ванную, чуть пахнущую озонатором, ярко залитую люминесцентным светом прямоугольных плафонов, чисто плотно блещущую зеркалами, кафелем, никелем вешалок, где над безупречной голубизной умывальника, заклеенного бумажной ленточкой «стериль», приятно белели разглаженные личные и мохнатые полотенца; затем он вошел опять в комнату, повалился в благодатно вобравшую его глубину кресла, вытянул ноги, наслаждаясь тишиной, удобствами, подумал:

«Что ж, вот отсюда начинается отельно-ресторанная жизнь вперемежку с дискуссиями, приемами, аперитивами и разговорами. И десять дней, глубокоуважаемый Вадим Николаевич, покажутся вам вечностью, несмотря на заграничные апартаменты и радостный прием, оказанный какой-то не очень ясной фрау Герберт. Устанете, как черт в преисподней. Что ж, если уж приехали, то пусть жизнь идет так, как она идет, не торопить ее, но ускорять...»

Он не хотел в эту минуту думать о том, что осталось позади, далеко отсюда, за дождливым тысячекилометровым пространством, он не хотел думать о доме, потому что знал: через неделю начнется сумасшествие – неистребимая тоска по своему кабинету, по жене, по предзимнему ноябрьскому холодку московского воздуха.

«Все пока отлично», – подумал Никитин и живо достал из чемодана галстук, купленный в Париже, свежую, тоже парижскую, рубашку и, уже с удовольствием переодеваясь, чувствуя начало новой, праздной жизни, услышал стук в дверь, басок Самсонова:

– Готов? Не забывай, классик, нас ждет женщина.

– Заходи, рюмочку по-мужски не хочешь? В честь приезда, – сказал Никитин, продевая в манжеты запонки, и показал глазами в сторону расстегнутого портфеля. – Пока я тут, как видишь, занимаюсь экстерьером, достань, раскупорь и разлей по стаканам граммов по пятьдесят.

– Гляди-ка, тебе – приемник, а мне – транзистор, фитюльку, номера рядом, а классовое неравенство явное, – басил, скептически озирая комнату, Самсонов, при помощи зубов и дверного ключа раскупорил вынутую из запасов Никитина бутылку и, зазвенев стаканами на столе, разлил коньяк. – Ну, давай за мягкое приземление на земле гамбургской. Доложу тебе, что ты очаровал фрау Герберт. Заметил, как она на тебя смотрит? – Он понюхал коньяк. – Ах, аромат!..

Никитин надел облежавшую тело прохладную полотняную рубашку, надел пиджак и с тем же удовольствием обретенной чистоты и с тем же ощущением беззаботности взял стакан, коричнево блеснувший сквозь стекло коньяком, стоя чокнулся с Самсоновым, выпил эту крепкую, пахучую жидкость, разлившую веселое тепло в груди, крикнул, сказал:

– Хорошо пошло, прекрасно! Что касается твоей наблюдательности, то она у тебя, Платоша, шерлок-холмсовская.

– Прошу под коньяк. – Самсонов извлек из кармана две карамельки, одну протянул, как подарок, Никитину: – Закуси. Запасся в самолете. И двинем вниз, к фрау Герберт.

Посасывая карамельки, они спустились на лифте в вестибюль и тут, среди ковров, впитывающих шаги, среди зеркал и полумрака, сверху подсвеченного матовыми плафонами, заметив приветливый кивок из-за стойки знакомого портье, уже расположено сказали ему «данке» и вошли в ресторан, странно пустой, притемненный, на стенах неярко горели бра, за огромными окнами серел водянистый сумрак, липли к стеклам дождевые капли.

Госпожа Герберт, гладко причесанная, приведшая себя в порядок, губы подведены, вся опрятная в своем темном костюме, сидела за столиком подле окна, закинув ногу на ногу; она оторвалась от карты меню, встретила их улыбающимся взглядом.

– Господа, мы должны решить: что мы будем пить и есть?

– Что-нибудь легкое. Чуть-чуть нежирной ветчины, сыр, кофе, что-то вроде завтрака, – ответил Никитин и положил на скатерть сигареты, предложил фрау Герберт: – Попробуйте советские. Крепковаты, но ничего.

Она аккуратно отшлифованными ногтями вытянула сигарету из пачки, попыталась прочитать название, но не прочитала и засмеялась.

– О, русские!.. Я не люблю легкие, и вы, пожалуйста, попробуйте. – И пододвинула к нему немецкие сигареты. – Но главное – что же пить? Коньяк? Виски? Немецкую или русскую водку?

– Русскую водку полагается пить в Москве, – отозвался Самсонов тоном притворного глубокомыслия. – В Германии, надо полагать, – немецкую. Я не совершил ошибку, господин Никитин?

– Если ты и ошибся, то ошибся гениально, – сказал по-русски Никитин и смело перешел на немецкий: – Немного вашей водки, фрау Герберт. Вкус шнапса со времен войны я уже совсем забыл.

– О нет! Теперь это другая водка, с войны прошло так много лет, все изменилось, – возразила госпожа Герберт, виновато взглядывая на Никитина, и сейчас же обернулась в затемненный зал. – Герр обер!..

Метрдотель, неслышно возившийся неподалеку, занятый сервировкой столика, подошел мягкой походкой, принимая такое же неподобострастное почтение, что было давеча и на лице старшего портье, вопрошающе наклонил к фрау Герберт лысую, в обводе седых волос голову; его накрахмаленная грудь, черный галстук-бабочка подчеркивали выработанный аристократизм солидного ресторана, его белая холеная рука синхронно повторяла каждое слово фрау Герберт, автоматическим карандашом заскользила по блокнотику. Потом опять благородный наклон головы, и опять бесшумной походкой незаметно удалился он в ровную полутемноту безлюдного в этот необеденный час зала.

– Господин Никитин, ваш гамбургский издатель, о котором я писала вам в письме, надеется сегодня встретиться с вами у меня, – заговорила госпожа Герберт и поставила сумочку на колено. – Он просил меня заранее передать вам благодарность и... гонорар за последнюю вашу книгу. Три с половиной тысячи марок. Он, несомненно, мог бы заплатить гораздо больше. Но, к сожалению, между нашими странами не существует авторской конвенции. Господин Вебер богатый человек и не из тех, кто легко расстаётся с деньгами. – Она смущенно улыбнулась и передала Никитину довольно толстый конверт, украшенный типографским готическим оттиском издательства «Вебер-ферлаг», следом вытянула из сумочки еще два конверта потоньше, договорила: – И здесь от нашего литературного клуба карманные деньги, по восемьсот пятьдесят марок, вам, господин Никитин, и вам, господин Самсонов.

– Спасибо вам и моему издателю, – сказал Никитин. – Не было ни гроша, да вдруг алтын. Это успокоительно.

– Миллионер, Рокфеллер, увезешь из Гамбурга запакованный в целлофане «мерседес». – Самсонов переложил деньги во вместительный бумажник, подумал и прицелился очками на

фрау Герберт: – Интересно, а как же расходилась, то есть как раскупалась, последняя книга моего уважаемого коллеги?

– Была реклама, и книга разошлась как роман о советской интеллигенции в годы десталинизации. Господин Вебер хорошо знает, как можно вызвать интерес к восточному писателю, и умеет нажиться, – ответила фрау Герберт, в то же время наблюдая за Никитиным, который небрежно затаскивал конверты во внутренние карманы, и внезапно спросила с растерянной заминкой: – Вы никогда не считаете деньги? Разве считать не принято в России?

– Принято, и считаю, – сказал Никитин. – Но, кажется, мировой известностью пользуется немецкая аккуратность.

– О, это постепенно исчезает, господин Никитин.

– Даже в Германии?

– В России, наверно, плохо знают новую Германию.

Усталости сейчас не чувствовалось, как это было в машине на пути из аэропорта, и после выпитой рюмки коньяка в номере было ощущение начатого движения по течению, без насилия над волей, без напряжения, потому что все шло отлично, может быть, лучше, чем ожидал, и приезд, и отель, и эти дурные деньги, присланные издателем, и деньги литературного клуба безоглядно освобождали его и Самсонова от унижающей бытовой стесненности. Кроме того, он теперь яснее понимал манеру речи фрау Герберт, милую медлительность ее интонации, теперь увереннее и решительнее справлялся с немецкими фразами – и было благодатное ощущение заграничного отдыха, заслуженного перерыва в работе, и не мучило разъедающее угрызение совести, что бывало дома в пустые дни, когда не находились точные фразы на измаранном листе бумаги.

Между тем официант ловко и быстро расставил на столе крошечные рюмки, на одну треть наполненные водкой, железные кофейники с изогнутыми по-восточному носиками, распространявшие шоколадный аромат кофе, маленькие фарфоровые молочники с горячим молоком, белые свежие, булочки в корзинке, застеленной салфеткой, тонкие ломтики черного хлеба и на розетке квадратики масла, замороженные в холодильнике, покрытые капельками влаги.

И все это: ледяная, лишенная запаха водка («Ваше здоровье, госпожа Герберт»), и хрустящие булочки, намазанные маслом, и ветчина на пряно-сладковатом черном хлебе, и ароматный турецкий кофе, и пахучие пластинки сыра – показалось Никитину вкуснейшим; и он почти наслаждался какой-то бездумной физической своей легкостью, этим поздним завтраком, и этой тишиной пустого отельного ресторана, и непрерывно морозящим ноябрьским дождем на гамбургской улице за окнами.

3

– Гамбург брали, если не ошибаюсь, англичане? Но любопытно – развалин нигде нет.

– Не брали, Платон, а вошли в сорок пятом. Предварительно разбомбили несколько кварталов и вошли весело и нетрудно. Бомбили – и потом заняли город, хотя тут им не сильно сопротивлялись. Разрушенные кварталы немцы, конечно, восстановили.

Дождь не переставал, нудно сеял над Гамбургом водяной пылью, серая мгла висела в воздухе. Скользкий тротуар сально блестел, мимо проносились, шелестели, отражались в асфальте отлакированные дождем железные стада машин; загорались то зеленым, то красным светом силуэты шагающих человечков на указателях светофоров, магически дисциплинируя скопления мокрых зонтиков и непромокаемых плащей перед границами переходов; неоновую бледность источало кренделеобразное «U» над спусками в метро; тускло зеленела трава бульваров, мокли в лужах ржавые листья, а по желтым островкам листьев бродили на газонах чайки, взъерошенные, озябшие, – пахло поздней осенью, было слякотно, промозгло, дышало сырой тяжестью близкого моря.

– Есть чему удивляться, – вполголоса говорил Никитин, мимолетно всматриваясь в буднично-спокойные лица прохожих. – Ходим мы с тобой по земле немецкой, откуда все началось, и, ей-богу, не верится, чтобы вот этот, например, добропорядочный дядя... – он взглянул на пожилого утомленного человека в клетчатом плаще, равнодушно покуривающего у дверей бара тоненькую, дешевую сигарку, – чтобы этот вот дядя во всю глотку орал «хайль» и стрелял в тебя или в меня под Сталинградом... Или вот этот? – И он опять перевел глаза на маленького, благодушного вида немца, приметного оттопыривающим пальто брюшком, который, выйдя из магазина, в одной руке держал зонтик над головой, а другой открывал ключом дверцу обляпанного грязью «фольксвагена» близ кромки тротуара. – Не похоже? Отец семейства, любитель пива, балагур, по вечерам усаживает детей на колени... Само добродушие. Мог он стрелять? Или расстреливать? Вешать? Вот штука, Платон, вот дебри...

– Кто же в конце концов орал «хайль» и стрелял? – заворчал Самсонов. – Все, оказывается, милые, добрые, прекрасные люди... Кто же стрелял?

– Не «кто», наверно, а «почему» и «зачем» – в этом суть.

– Вряд ли физиономии что-либо объяснят, Вадим. Наоборот, запутают.

– Посмотрим, посмотрим...

Возле каменно-прочного, дочерна закопченного вокзала с зажженной вверху синеватой буквой «S», с освещенными в утробе его огромными залами, похожими на магазины, Никитин задержался перед стеклянным газетным киоском, долго искал в пестро заваленной и завершенной иллюстрированными журналами витрине красочные суперобложки книг, поочередно читая заглавия вслух:

– «Кэнди». Роман о молоденькой девушке. «Убийство в Мадриде». Ясно. Что же у них в моде? Поправляй, Платон, если не так переведу. Франц Кафка уценен. Видишь? С двадцати шести марок на семнадцать. Чем объяснить? Недавний кумир Запада. Дальше – новинка в углу. «Письмо Петэна жене из тюрьмы». Так, любопытно. Что этот субъект писал ей? «Тропик Рака» Генри Миллера. Эротический роман. Понятно. А это что? «Вторая мировая война». Уже интересно. Вот эту бы книжицу надо все-таки перед отъездом приобрести.

– Погляди в правый угол, на красный переплет, – сказал Самсонов, прислоняясь очками к стеклу витрины. – Цитатник Мао. Хо-хо! Рядом – «Умер ли Гитлер?». Интересно, кто покупает?

– Об этом надо спросить фрау Герберт. «Умер ли Гитлер?» тоже надо бы купить.

– Уверен? А таможня? Случайный осмотр? «Есть ли зарубежная литература?» И пошла писать губерния.

– Обойдется. Эти книги покупаются для личного пользования, а не для публичных библиотек. Все надо знать, абсолютно все.

– А что знать? Что не ясно? Кто стрелял, объясню. Все, Вадим, все, кому сейчас больше сорока двух. То, что некогда у нас писали о Гитлере: «сумасшедший», «бесноватый ефрейтор», «паралитик», – объяснение неточное. А это была дьявольская личность, обладавшая внушением. Когда он произносил речи, немцы, в особенности женщины, рыдали от восторга. Известно тебе?

– Ясно, ясно, да не совсем. Детали, существенные детали туманны, Платон, кто они, эти западные немцы, для меня, в общем, инкогнито. Унексплоред. Белое пятно. Кто они? Что они? Те ли они? До сих пор не могу забыть «бефель» о трех солдатских добродетелях. «Верь в фюрера, повинуйся, сражайся...» Ладно, посмотрим. Ни в какие музеи мы, конечно, не пойдем. Музеи затуманивают все к черту. Мы сделаем одно исключение. Посмотрим памятник погибшим и порт. Главное – лица, лица на улицах и глаза... Согласен?

– Принимаю.

– Тогда – айн момент, уточним, где памятник.

Никитин расстегнул зашелестевший плащ, достал из бокового кармана план города, взятый в отеле, посмотрел на сеть улиц, сразу обсыпанную мелкими каплями дождя по глянцу бумаги, сказал, пряча план:

– Далековато отсюда. Но потопаем пешком, что ли? Согласен? Хочу поглазеть на улицы. Пострадаешь?

Подобно тому как первоначальное расположение и нерасположение к незнакомому человеку определял в большей или меньшей степени внешний облик его, так и первое ощущение неизвестного города (и не только за границей) подчиняло Никитина доверчивой силе толкающего любопытства, и его тянули хаотичность живой толпы, кипение ее на тротуарах, теснота метро и трамваев, переполненные пивные, маленькие бары, шумные увеселительные кабачки, торговые улицы, где ежесекундно появлялись, мелькали, выражали внимание, заботу, равнодушные, улыбались, хмурились, возникали как бы из вечности и тут же пропадали навсегда чужие лица, обрывки недослышанной фразы, взгляд, смех, чей-то жест...

И это всегда высекало искру волнения, и это, казалось, разрушая нечто свое, личное, соединяло его со всеми впервые увиденными людьми, и вместе неудовлетворенно разъединяла его с ними непознанная скрытность их жизни, в которую хотел проникнуть и не мог. Может быть, поэтому он любил заглядывать в окна, мучаясь неутоленным угадыванием нераскрытого. Забыто не задернутая занавеска, тень женщины, расчесывающей перед зеркалом волосы в глубине комнаты («одна она, кто с ней, кто она?»), темные двory, наполненные тишиной ночи, обшарпанные парадные, таинственные лестничные площадки, отзвучивающие гул дальних шагов, стук двери на верхнем этаже, городские автоматные будочки, сплошь исцарапанные по стенам номерами телефонов и именами, оставленная на сиденье пустой машины пачка сигарет или забытый развернутый журнал на бульварной скамье вызывали у него то чувство ожигающего прикосновения к загадочной человеческой жизни, какое испытал однажды еще в детстве, когда случайно нашел на улице кем-то потерянный кошелек, новенький, сшитый из бордовой кожи, сверкающий золотистым замочком. Кошелек этот с томительным ощущением непонятной вины был спрятан им в сарае-голубятне на заднем дворе за поленьями березовых дров. И иногда, сидя в полосах солнечных стрел сквозь щели, в душном запахе перьев, сухого помета, он часами разглядывал кому-то принадлежавшие вещицы – крохотный перочинный ножичек, аккуратно сложенные три рубля, тюбик красной, сладковатой на вкус помады, стертой сбоку о чьи-то губы, – и, переживая тайное волнение, представлял эти вещи в чьих-то руках, представлял лицо, фигуру, голос незнакомой женщины. Он видел ее молодой, грустной, такой же изящно красивой, как и перламутровый ножичек, одинокой в своей комнате, где окно выходило на кирпичную пожарную стену, обогретую ранним солнцем по утрам. Но эта воображаемая им женщина не была похожа ни на одну из женщин в их доме и во всем замоскворецком переулке, у нее не было отличительных черт лица, фигуры, походки, она была лишь красивой, молчаливой, печальной, окруженная полутьною прохладной уютной комнатки, в которой должны быть старинный комод и зеркало. И тогда он воображал, как воровски летним утром подкрадывается к раскрытому окну незнакомки и бросает на розовеющий подоконник этот маленький чужой кошелек, сохранивший ножичек, губную помаду и три рубля, и, весь млея от рыцарского восторга, слышит ее изумленный вопрос: «Кто это?»

То детское неудовлетворенное любопытство давно было забыто в подробностях Никитиным, оставалось тихим, смутным отсветом, однако в зрелые годы жажда узнавания скрытой чужой жизни приносила ему почти болезненное удовольствие.

– Вот он, – сказал Самсонов. – Читай. «В память солдат и офицеров, погибших и пропавших без вести во вторую мировую войну. 1939–1945 годы». Дальше: «Германия останется, если даже мы все погибнем».

– Что ж, сильно сказано, – проговорил Никитин. – Давай-ка рассмотрим, Платон.

Этот памятник был тяжел, мрачен, чернел смоченным дождем камнем, немо, угольно выступали очертания барельефов, будто размытые темнотой ночи силуэты солдатских фигур, шагающих куда-то плотным строем – в ад или небытие; оружие, каски, едва различимые, без выражения глаз смертные лица. Внизу на каменных плитах угрюмо отблескивали темные железные венки, стояли рядом свежие венки из цветов, прилипали к земле под дождевой пылью траурные ленты с белой и аспидно-черной бахромой, зловеще проступали на них знаки мальтийских крестов, и лежали среди железных венков целомудренные астры, нежно-красные гвоздики, каплями крови обронившие на грязные плиты лепестки, расплзшиеся по готическим надписям на венках: «От солдат, воевавших в 225-й пехотной дивизии», «От резервистов бундесвера», «От бывших летчиков», «От бывших танкистов».

И вдруг пахло на Никитина железистым запахом земли, и будто послышались явственно какие-то голоса, разрываемые пулеметными очередями, чей-то вопль «танки-и!», вырвавшийся из знойного пульсирования солнца, нанесло удушающим жаром горячей брони, возникшей черным боком в прицеле, его всего оглушило ревом танковых моторов, и разом тошнота подкатила к горлу, вызванная сладковатым, как трупная вонь, густым наплывом синтетического бензина, ударами пороховых газов...

Он вспомнил это, уже не в силах отделаться от ощущения боли в ушах, толчков подбрасываемого выстрелами орудия и от знакомого хрипловатого голоса, просторной, обнажавшей молодые зубы улыбки, дрожания белых коровьих ресниц командира второго взвода Шиканова, чей перерубленный наполовину голый атлетический торс теперь висел на ветвях сосны, напоминая подвешенную розовую тушу. Он видел: что-то ужасающе красное обрызгало, стекало по щиту покованного орудия, впитывалось в белый накаленный песок вблизи тихой реки Псел, вспыхивающей справа под нестерпимым солнцем. Танки пошли в атаку по левому берегу, и взвод Шиканова первым занял позицию на опушке урочища и не успел окопаться, открыл огонь, опередив на два снаряда взвод Никитина.

А вечером в занятом городке Гадяче пили после боя трофейный ром, и Никитин в каком-то беспамятстве кричал удивленному командиру батареи, что это его взвод, Никитина, должен был занять позицию на опушке и стрелять первым, и Шиканов был бы жив. Он как бы оправдывался перед случайностью и перед собственным роковым везением. В ту пору он еще не понимал, что на войне никто не может обогнать, обойти, замедлить или перехитрить судьбу. Судьба Шиканова, мстя за поспешную неточность, настигла его и сделала беспощадную зарубку на миге вечности острым топориком смерти. Это мщение было предупреждающей казнью, которую суждено было видеть Никитину несколько раз и в других вариантах и которая все же не научила его благоразумию до конца войны, – молодости несвойствен опыт выверенного расчета. Но спустя много лет он не раз просыпался в холодном поту – во сне судьба заносила над ним свой мстящий топорик и опускала его на другого, на метр ближе или дальше. И тягостно было при воспоминании лиц и голосов погибших во время танковых атак – война неотделимо связана была с этим чудовищным и лживо-лицемерным выбором взвизывающегося над головами топорика.

– Ты что нахмурился? – прозвучал голос Самсонова. – О чем думаешь? Пошли отсюда. Достаточно.

– Подожди. Посмотрим...

Никитин все глядел на распластанные, примокшие к темным плитам лепестки цветов, на колючее и влажное железо венков, облепленное кладбищенски поникшими лентами, и от этих овлажненных цветов на камне, черных мальтийских крестов на лентах, мокрого крепа повеяло липким запахом чужой смерти, сгущенной трупной гнильцой из чаши, как бывало когда-то в осенних лесах, на раскисших дорогах, затянутых косым дождем, стучащим по папоротникам над канавами, на краях которых виднелись вдавленные в размытую глину немецкие коробки

противогазов, сплюснутые плоские котелки, перевернутые, налитые грязной водой каски. Тот липкий, трупный запах лесных дорог забивал ноздри, не давал дышать.

«Так что же? – подумал Никитин с отвращением и неприязнью к самому себе. – Не могу побороть? Не могу забыть? Это сильнее меня? Почему я не могу представить другую смерть – немецкого солдата, слезы его матери, жены, невесты? Почему это не вызывает во мне никаких чувств?»

Осторожные шаги приблизились сбоку. К памятнику подошел сухощавый мужчина, высокий, в приталенном сером пальто, без шляпы, седеющие волосы причесаны на пробор, сухое выбритое лицо тускло, неподвижно, он одним пальцем поправил перекрученную ленту венка, где по траурному крепу белела готическая надпись «От солдат, воевавших в 225-й пехотной дивизии», и, склонив голову, стоял так несколько секунд в позе задумчивости.

«О чем думает этот немец – о бывших победах и поражении? О погибших однополчанах? По виду ему можно дать лет под пятьдесят. Значит, воевал. Где? На западе? На востоке?..»

И Никитин, подталкиваемый любопытством, готов был спросить, не приходилось ли ему воевать на Восточном фронте против русских в составе 225-й дивизии, но немец вроде бы почувствовал на своем лице внимание и, обведя Никитина непроницающим, холодным взглядом, пошел прочь от памятника; спину его плоско облегал модное осеннее пальто.

«По возрасту бывший гауптман или майор», – подумал Никитин, он знал, что мог ошибиться, и тем не менее, продолжая угадывать, представил спину этого немца, затянутую в офицерский мундир, и спросил Самсонова, который протирал носовым платком стекла очков:

– Кто, например, этот?

– Немец, который стрелял в тебя, – досадливо ответил Самсонов. – «Дойчланд, Дойчланд юбер аллес». Заметил выправку? Ото! Вон еще один. Не сомневаюсь, будущий сын бундесвера, кто-то дома исподтишка внушает мысль о былом величии «третьего рейха».

Никитин посмотрел на подошедшего мальчика лет одиннадцати, в коротких штанишках, в белых, измазанных грязью гольфах; мальчик этот, лениво пожевывая резинку, начал бесцеремонно ходить по каменным плитам, балансировать, как на спортивной площадке, его желтые ботинки мяли рассыпанные лепестки венков; потом он напряг круглую попку, тонкие икры, подпрыгнул, коснулся рукой выпуклого ствола пулемета на барельефе и сейчас же, надув на губах пузырь жевательной резинки, спрыгнул с плит, враскачку зашагал к усыпанному островами листьев пруду за оградой, где пронзительно визжали чайки. Их резкий, скандальный визг на затемненной сероватым туманцем воде был далеко слышен; чайки по-змеиному хищно нацеливали клювы, гонялись друг за другом вдоль берега, суматошно били крыльями, и стая медлительных уток, вертя шеями, отплывала от них, покачиваясь на воде меж палых листьев. Мальчик же в запачканных грязью белых гольфах шел по кромке берега, мимоходом махал ногой на чаек и все надувал и надувал пузырь вытянутыми губами, пока он не лопнул. Никитин сказал:

– Том Соьер... Похож?

– Немецкого происхождения, – поправил Самсонов. – Ну, двинем дальше. Здесь ясно. На знаменитый Реепербан поедем? Или опять потащимся пешком? Ты не размок, Вадимушка?

– Доедем под землей, черт с тобой.

Накрапывал дождь. Они спустились в промозглый сквознячок метро, в запах отсыревших плащей и зонтиков.

Когда они поднялись из метро на Реепербан, дождь перестал, тучи низко клубились над районом порта, над невидимым морем, небо набухло, тяжелыми глыбами ползло над кровлями.

Все здесь, даже вблизи метро, непохоже было на центральные, благопристойные улицы вокруг отеля, все говорило здесь о жизни иной, праздной, неестественно возбужденной, необычной, кем-то придуманной (на один вечер, на одну ночь, на один час) для туристов и торговых моряков разноязыкого мира, сошедших на сладкий, безотказно гостеприимный берег

Гамбурга, готовый удовлетворить желания каждого, кто склонен к разнообразным удовольствиям больших цивилизованных городов.

– Вот он, знаменитый район Сан-Паули, – сказал Никитин. – Секс. Вино. И увеселения.
– М-да, – промышчал Самсонов. – Вижу.

Тут ярчайше пестрели на всех углах грубо разрисованные вывески баров, рекламы маленьких домов свиданий, ресторанов, американских клубов, повсюду бросались, лезли в глаза названия дансингов, ночных кабаре, стриптизов – «Табу», «Колибри», «Мулен Руж», «Сафо» – и смотрели через стекла витрин цветные фотографии оголенных крупнотелых девиц, лежавших в прозрачных ваннах, или расprostертых, как бы распятых на коврах, или закрывших испуганно-капризно лица распущенными волосами и игриво растопыренными пальцами то место, где должен быть фиговый листок; и повсюду странно выделялись торчащие груди, запрокинутые в позах изнеможения головы, напряженные шеи, гибкие руки в застенчивом движении ложного целомудрия, зрелые женщины и совсем девочки с невинно потупленными глазами, будто защищающие свою вдруг открытую наготу томной полуулыбкой. Это было какое-то перемешанное обилие женской плоти, обнаженная тайна напоказ, разъедающий толчок смещенного воображения, ядовито и искусственно создавшего сцены в нарочитом по своему бесстыдству уличном театре для заходивших сюда любителей эротического забвения.

В этот час Реепербан был по-дневному немногочислен, еще не зажигались ночные огни, не светились рекламы, еще не работали ночные кабаре, не открывались дансинги, еще не было вечернего оживления, какое мог представить Никитин по хаосу зазывных вывесок клубов, кинотеатров и стриптизов, но что-то работало уже в недрах улицы, с усталой механичностью начинало или продолжало ночную жизнь, темно шевелилось за стенами небольших отелей, за витринами баров, во дворах и подъездах домов. И деятельного вида, атлетического сложения швейцары в форменных пальто, непроспанно зевая, расхаживали у закрытых дверей, порой отбегали на середину тротуара, наперерез прохожим, с нагловатой решительностью преграждали дорогу, вывертом показывая в ладонях фотографии, какие-то билеты, выкрикивая хрипловатой скороговоркой:

– Новое порно! Вход три марки!.. Три марки для информации! Очень дешево!..

– Пять марок за пятнадцать минут! Молодая шведка... Две красивые мулатки, которые хорошо понимают друг друга!.. Шведский секс! Французский вариант!..

Здесь, подобно теням, появлялись на тротуарах бесцветные, бледнолицие молодые люди с торговыми плоскими глазами, в узконосых ботинках, скользящими телодвижениями выступали из подъездов, возникали из глубины улочек, вполголоса предлагая зайти куда-то. В то же время благообразно седые, одетые в черное мужчины беспощадно ловящими взглядами сутенеров следили издали за работой молодых людей, зорко проглядывали улицу. А везде, под окнами, возле подъездов и около дверей баров, поигрывая раскрытыми зонтиками, стояли проститутки, немолодые, потрепанные, до неумеренной яркости окрашенные, и рядом – молоденькие, в мини-юбках, повесив сумочки на руку, независимо курили, подрагивали ногами, обтянутыми сапожками.

На этой улице оба не останавливались, шли, не отвечая на оклики, и теперь точно продирались через расставленную впереди колючую проволоку неотступно и секретно шепчущих бескровных молодых людей, держащих открытки в рукавах, сквозь как бы с угрозой наведенные взгляды солидных сутенеров, сквозь неуловимо сопровождавшее внимание дневных проституток, пожилых, тяжелых, матеро-опытных, и этих юных, внешне ангельски чистеньких, беловолосых, раскрывающих навстречу словно впервые подведенные синевой веки школьниц. И Никитин, чувствуя это окружение унижительной оголенности намерений, кем-то узаконенных, обыденных в своей простоте, подумал, что, видимо, здесь знали все, что можно знать в темной бездне человеческой похоти, где заранее подробно были выучены роли, жесты, слова, позы, чтобы за цену, установленную по вкусам, можно было купить и продать вместе и в

отдельности ноги, губы, грудь, живот, голос, всю изощренную воображением искусственную страсть, – он подумал об этом и внезапно ощутил тупое, гнетущее насилие над собой, и мохнатой лапкой сдавило сердце тихое удушье.

Они молча миновали квартал дневных проституток, и тут, на углу, перед заворотом в улочку, сутулый, старообразного вида швейцар, какие обычно стоят подле дверей отелей, в длиннополой форме, украшенной серебристыми галунами, плохо выпавшийся и плохо выбритый, искательно закивал им морщинистым переутомленным лицом и заговорил полупшепотом, умоляя подобострастно:

– Господа, только три марки... показываем короткие французские фильмы, привезенные с плац Пигаль. Я вижу, вы не немцы, вам интересно будет взглянуть. Последние фильмы. Вот билеты, господа, три марки, это стоит... уверяю вас...

– Зайдем, что ли? – спросил неожиданно Никитин без полной уверенности, обращаясь к Самсонову. – Посмотрим ради интереса. Все надо знать, если так... Как ты?

– Давай уж, давай, бог с ним, соблазн есть, – ответил, неизвестно почему багровея, Самсонов и, отсчитав швейцару шесть марок мелочью, пробормотал: – Знать так знать...

Они вошли в узкую дверь, услужливо раскрытую забежавшим сбоку швейцаром, спустились по тускловатой каменной лестнице в подвал, пахнущий пряной сыростью, теплым одеколоном, отодвинули тяжелую захватанную бархатную портьеру, закрывавшую вход перед концом лестницы. И в слоистой темноте крохотного зала замерцал, засветился впереди маленький экран, где нагая женщина на краю широкой постели в истоме обнимала мужчину за мускулистую спину, терлась затылком о подушку – шел фильм без слов, без звуков, фильм движений, изображающий двоих в номере отеля.

Никитин с порога приглядывался в полутьме зальчика, отыскивая места, – стульев нигде не было. Стояло лишь несколько столиков, на стенах слабо горели красные фонарики, в углу из тьмы красновато проблескивали зеркала бара; и зальчик, и бар этот в первый миг показались совершенно заброшенными, пустыми. Но потом завиднелись справа у зеркал три женские фигуры, сидевшие за крайним столиком возле какой-то боковой занавески, и оттуда послышалось протяжное:

– Хэлло-о!

И при фосфорическом мерцании экрана, отсвечивающего в мрачноватое пространство без стульев, видно было, как две девушки встали, неторопливо, покачивая бедрами, приблизились и затем, как это делают контролеры в кинотеатрах («айн момент»), провели их в полукруглую ложу, посадили к столику и затем, обдавая душноватым одеколонным запахом, сели между ними с той неспрашивающей уверенностью, которая означала, что так уж заведено в этом баре-кинотеатре.

Никитин не успел взглянуть на свою соседку, как тотчас же подошла третья девушка, по-видимому, официантка, посветила ручным фонариком. Он разглядел ее светлые волосы, продолговатое, неприступно-холодное лицо, лицо умной студентки; она сухо спросила, что господа намерены пить.

– Пить? – переспросил Никитин по-немецки и, немного озадаченный, взглядом подал знак Самсонову: «Бери командование на себя».

– Кока-кола, – заказал Самсонов для того, чтобы только заказать, и поэтому выбрал самый дешевый напиток. – Две.

«Кто же, собственно, эти девицы? Зачем они сели с нами? – подумал Никитин и здесь же вспомнил о предупредительных японских гейшах. – Вероятно, они служат здесь и своим вниманием обязаны занимать зрителей, совсем уж интересно, но, кажется, некстати».

Мгновенно принесли две ледяные бутылки кока-колы, две маленькие рюмочки с ромом, девушки зашевелились, заулыбались, разлили кока-колу, одна подала стакан Самсонову, другая – Никитину, и он наконец взглянул на нее: смуглая, скуластенькая, большие темные глаза

ничего не выражали, тонкий свитер округливал ее сильную грудь, нога умело заброшена на ногу, узкая юбка стянулась, выказывая телесно белеющее колено.

Она отпила глоток из рюмки, качнула ногой, жестом попросила у Никитина сигарету, и он охотно угостил ее, зажег спичку. Огонек осветил чуть толстоватенький нос, густо начерченные ресницы, полные губы, колечком охватившие мундштук сигареты, ее круглые ноготки, отблескивающие багровым лаком. Она, медленно затягиваясь, опять качнула ногой, коснулась коленом Никитина и, улыбнувшись, легоньким кошачьим движением провела ладошкой по его волосам.

– Меня звать Гэда, – низким голосом сказала она, задержала палец на его щеке, ласково подержала, пощекотала мочку уха и добавила: – Кто ты – англичанин? Какой серьезный!

– Гэда? – повторил Никитин и убрал ее неприятно холодную, пахнущую горькой туалетной водой руку со своей щеки, давая понять, что не расположен к этому неестественному прикосновению, к этому изучающему его любопытству, и стал смотреть на экран, где в разных номерах отеля происходило одно и то же: она, обнаженная, сидя посреди постели, в задумчивости стягивала чулок, словно скручивала кожу на бледной ноге, открывалась дверь, входил он, сбрасывая пиджак, развязывая галстук, расстегивал рубашку, она, не успев снять второй чулок, опрокидывалась навзничь под его играющим мышцами стальным торсом. Из затмения возникал соседний номер, длинноволосая женщина, разъятоглазая, в одних сапогах выше колен, сладострастно ударяла себя хлыстом по плечам; потом заставленная мольбертами комната, похожая на мастерскую художника, голая натурщица у окна одной рукой кругообразно поглаживала живот, дрожа истонченными пальцами, другой, с порочной улыбкой, держала свечу около бедра; потом на утреннем песке пляжа мужчина заламывал назад руки позвериному кричащей девушке, зубами вонзаясь ей в искусанную до крови спину, и кто-то, гладко-лысый, уродливо сгорбленный, тоже голый, подглядывал из-за кустов и, суча волосатыми ногами, злорадно, гадливо смеялся...

Никитин смотрел сначала с невнятным интересом, затем с тоскливым, раздраженным сопротивлением, и тошнотный, вязущий комок постепенно подступал к его горлу, будто на глазах били обмотанными ватой кулаками, истязали, мучили прекрасное человеческое тело, заставляли его корчиться, извиваться в больном сладострастии, уничтожающем презрительной ненавистью естественное сближение мужчины и женщины.

– Англичанин, пей...

Хмурясь, он оторвался от экрана, отвлеченный голосом, шорохом в ложе, и увидел при вспыхнувшем фонарике – зачем-то принесли на их столик вино, две густо-черные бутылки, четыре бокала, которые официантка молчаливо наполнила. Гэда пригубила бокал, искоса поглядывая на него, а официантка ушла за занавеску, скрывающую выход куда-то правее экрана. Занавеска эта подергивалась, колыхалась складками, и сипловатый мужской шепот дополз оттуда в пустоту зальчика.

И тотчас глухое беспокойство возникшей нереальности малярным холодком стало вкрадываться в сознание Никитина. Уже происходило нечто несуразное, до глупости ненужное – фильм на экране, потные голые тела, темный закрытый бар в непонятно безлюдном подвале Реепербана, незаказанное вино на столе, шепот за занавеской, скуластенькая, никогда в жизни не виденная Гэда, прижимающая колено к его ноге. Что это? Нет, надо было сейчас же подняться, во что бы то ни стало сделать над собой усилие, выйти из нереальности этого подозрительного сырого подполья, оторванного, казалось, от всего мира с его естественным светом, дневной серостью ноябрьского воздуха, живыми звуками, которые не проникали сюда, как сквозь железобетонную толщу. Было тихо, и в мертвенной немоте, после шевеления занавески, после сжатого мужского шепота за ней, Никитин представил дикие, зловеще мрачные лабиринты этого не известного никому подвала, его мокрые нависающие своды, ослизлые стены,

обросшие грязью, зловонные канализационные колодцы и стоки, где текла мутная городская жижа и где не могло быть ни единой души человеческой.

«Уходить, нам надо уходить!» – подумал Никитин и тут же услышал низкий голос Гэды, лихорадочно пытаясь понять немецкие фразы:

– Я вчера была у врача, у меня все в порядке. Я слежу за своим телом, англичанин...

Она, сонно улыбаясь, медлительно погладила свою грудь и бедра.

– Я хорошая артистка стриптиза, я здесь выступаю вечером. Ты посмотри, какая у меня грудь. Пощупай... И посмотри, какие бедра. Как у мальчика. Ты кто, англичанин?

– Нет.

– Поляк? Югослав?

– Нет.

– Может, русский?

– А разве русские здесь бывали?

– Бывал один. Симпатичный человек. Только шпион.

– Почему шпион?

– Русские все шпионы.

– Это фантастика, милая Гэда.

– Я вижу, ты медленно возбуждаешься, – сказала она и хрипловато рассмеялась. – Может, ты... этот? Может, ты другого хочешь? Не бойся, я умею все делать...

– Нет, милая, я ничего не хочу.

«Уходить, сейчас же уйти отсюда. Сказать об этом Самсонову!» – подумал Никитин, испытывая тревожную и душную тесноту во всем теле, и, уже совершенно не понимая, не видя смысла происходившего на экране – мелькали там те же голые фигуры мужчин и женщин, – он со смешанным чувством отвратительного страха, брезгливости и бессмысленности положения наконец повернулся к Самсонову и на первый взгляд не узнал его. Самсонов, придавленный в угол крупным телом другой девицы, мотал лиловым среди тьмы лицом, бормотал что-то ненатурально сердитым голосом, он словно оправдывался, оборонялся растерянной усмешкой, и Никитин проговорил одним выдохом:

– Все, пошли отсюда!..

Самсонов с задышкой обратил на Никитина стекла очков, привстав, сказал в пустынный зальчик бара:

– Счет!

Заколебалась, откинулась занавеска правее экрана, и не спеша подошла белокурая официантка, выражая и ртом и глазами целомудренную строгость умной студентки. Она положила два счета на столик, в ожидательной невозмутимости посветила ручным фонариком. Никитин не сумел просмотреть внимательно свой счет, потому что заметил, как мигом переменялось толстоватое лицо Самсонова, вскинутое к зажженному фонарику официантки, и голос его вскрикнул изумленно:

– Откуда такой счет? Вы ошиблись! Сто пятьдесят марок? Мы заказывали только кока-колу! Позвольте! Мы не пили вино!

– У тебя нет денег, англичанин? Не знаешь цен? – бесстрастным голосом проговорила официантка и наклонилась близко к нему. – Сколько ты можешь заплатить марок? Сколько у тебя всего денег?

– Сто марок, – запинаясь, солгал Самсонов. – Я могу заплатить только сто марок.

– Давай сто!..

Сапно дыша носом, опасливо соображая что-то, Самсонов извлек из внутреннего кармана портмоне, порылся в нем непослушными пальцами, но, когда вытягивал две пятидесяти-марковые купюры, официантка цепким захватом отогнула край портмоне, крикнула внезапно визгливо:

– Там еще есть деньги! Давай! И ты... плати! Тоже нет денег?

И зажатым в кулачке ручным фонариком властно и грубо ткнула в лоб Никитину, с искаженным злобой красивым лицом и вся готовая к действию, вплотную придвинулась, загородила экран. Никитин никак не предполагал этой ее грубости, этого насилия, но, понимая, что все теперь походило на угрозу и вымогательство, как-то обостренно уловил в углу подвала колыхание занавески – и двое мужчин боксерского сложения (один без пиджака, в белой рубашке, с распущенным узлом галстука, другой в темном свитере) поочередно вышли оттуда, демонстративно сели на высокие стульчики бара спинами к залу, покуривая в безразличном молчании.

– Фонарик надо использовать по назначению, уважаемая, – выговорил Никитин. – Так будет разумней.

Он не раз переживал тягостное состояние связанных рук, то состояние, какое потом повторялось во сне, когда душная, унижающая тебя сила выворачивает плечи, железным обручем давит горло, смеется при виде твоей покорной беспомощности. И это было то, что могло случиться здесь, сейчас, в безлюдно-зловещем подвальчике, здесь, в примитивной ловушке, отъединенной от наземного мира: драка, избиение, грабеж, возможно, даже убийство, сырая клоака зловонных ходов, заброшенные колодцы городской канализации – ни одного свидетеля вокруг, никто никогда не сможет ни найти, ни узнать...

И, молниеносно осознав собственную беспомощность, Никитин сразу подумал, что нет и не будет благоразумного смысла выказывать сопротивление официантке, проявленное ошеломленным Самсоновым, и, еще стараясь быть спокойным, он небрежно пододвинул к себе свой счет – 143 марки, потом счет Самсонова – тоже 143 марки. Это была большая сумма, которая представилась ему ничтожно мизерной, малозначащей, – да, да, немедленно, не сомневаясь ни секунды, заплатить 300 марок и купить этим выход на ноябрьский воздух, приятный дождичек, мокрый асфальт... Какой никчемной, маленькой была эта сумма, покупающая возможность встать, откинуть тяжелую портьеру перед лестницей, подняться по ступеням из свинцовой полутьмы подземелья, из влажного запаха одеколона, исходящего от Гэды, безучастно посасывающей вино, уйти от злобного лица белокурой официантки, которая, изогнувшись, стояла над ними в позе, изготовленной на все, – ударить, вцепиться ногтями в глаза.

С ожиданием облегчения, думая лишь о первых шагах по лестнице, Никитин отсчитал в пакете триста марок, равнодушно протянул их официантке, сказал: «Счет вместе», – и она почти вырвала деньги у него; он коротко и тихо бросил Самсонову:

– Пошли к выходу, только быстреей!..

Официантка, собрав губы в жесткий комочек, выкладывала на стол сдачу мелочью. Двое мужчин все так же непроницаемо-безразлично сидели спинами к ним у стойки бара, покуривали молча.

«Скорее, скорее», – толкал себя Никитин и вдруг, с ударившей в голову кровью, почувствовал, как Гэда схватила его за локоть, впиалась в рукав плаща, не давая ему встать, и тогда, сдерживаясь невыносимым напряжением воли, чтобы не оттолкнуть ее («Она сейчас завизжит, крикнет, что ее избивают, и тут начнется!..»), он мягко разжал вцепившиеся в его рукав ногти и встал, ощущая мерзостное отвращение к своей фальшивой улыбке («Нет, ничего особенного не случилось!»), к своему голосу и неестественно вежливой интонации удовлетворенного полученным удовольствием человека:

– Данке шен... Ауф видерзеен...

Качнув животом стол, неуклюже вскочил следом Самсонов и, сопя, нагнув по-бычьей голову, двинулся к выходу, – и в ту же минуту Никитин пошел за ним, и после того, как на пороге отбросил захватанную портьеру, пропитанную омерзительной пряной сыростью, и увидел счастливый дневной свет вверху крутой лестницы, он еще не очень верил, что там, сзади, не опомнятся, не бросятся вдогонку...

Задыхаясь, они поднялись по каменным ступеням к выходу, откуда бело пробивался через стеклянную дверь реденький мерклый свет осеннего дня, а когда открыли дверь, когда вышли на улицу, на свободу, на простор тротуара, на прочную твердость влажного асфальта, оба возбужденно вдохнули горький водянистый воздух Реепербана и оглянулись по сторонам.

– К чертовой матери отсюда! – выговорил Никитин. – Ко всем чертям!

Швейцар стоял сбоку двери и сделал вид, что всецело занят соскребыванием пятнышка с борта зеленой шинели, морщинистое, измятое его лицо было не угодливым, а лживо-сосредоточенным. И Никитин поймал себя на злом и тайном желании – запомнить название бара, и это место, и это лживое лицо, которое могло быть случайным и неслучайным знаком в его судьбе.

– «Интим-бар», – прочитал Никитин неоновую вывеску над дверью. – Отличное название для бардака сто первого разряда! Потрясающее по невинности заведение! Вот как бывает, Платон!

– Ах, идиоты! Идиоты! – вскрикивал Самсонов в невылитой ярости и ударял кулаком по своему потному лбу. – Триста марок! Ограбили! Изнасиловали! Среди бела дня! Как сусликов, как глупцов ограбили!

– Благодарю бога, что все кончилось более или менее, Платон, – уже веселея, сказал Никитин. – Ну что было делать? Заявить полиции, что ты возмущен неблагородством притона и будешь жаловаться канцлеру? Могло быть гораздо хуже. Учти, нас ограбили как англичан, но они еще не знали, кто мы. Ты слышал милый лепет этой прелестницы Гэды о русских? И обратил внимание на вышедших боксеров-мальчиков? Дредноуты в пограничных водах.

– Идиоты мы, идиоты! Вот кто мы! Триста марок!..

– Бог с ними, с марками, считай, что у нас их никогда не было! Точнее, любой гонорар в капстране – дурные деньги.

– Ан нет! Это уж нет, прости! Я тебе должен сто пятьдесят, и я их тебе верну. Расплата за идиотизм поровну!

– Никаких денег, видишь ли, Платон, я у тебя не возьму. О трехстах марках я уже забыл. Не было их.

– А я не живу в долг, ты тоже запомни!.. О, простаки, глупцы, надо же было попасть в такое положение, дураки, ослы, болваны! И каким же сволочам мы попались!

– Успокойся. Все прошло. Такое стоит дороже. Все равно любопытно, ей-богу.

Никитин говорил и даже посмеивался, успокаивая Самсонова, багрового от негодования, от неудовлетворенной злости, а сам чувствовал, что стиснутое внутри унижительное бессилие не расслабляется в нем до полного облегчения. Студенческое лицо белокурой официантки, грубо ударившей фонариком его в лоб, ее базарные слова «И ты плати!», и без единого посетителя мрачный подвал, и те двое мужчин с сигаретами в ленивом, угрожающем выжидании за стойкой бара, и Гэда, и незаказанное вино – все было примитивно разыгранным насилием, не имеющим никаких доказательств и улик против насилия. Ибо все случившееся выглядело обыденным, вполне естественным: и вино, и девицы за столиком, и мужчины за стойкой бара, готовые вступить за оскорбленную и незащищенную девушку-официантку, которой не платят по счету... Виновных не было, вернее, они были: два зашедших в бар иностранца, желающих развлечься и позволивших себя ограбить, унижить, ударить...

4

Это был первый гонорар, три тысячи рублей, первые деньги после длительного безденежья, полученные в кассе солидного издательства, – три толстые плотные пачки, каждая перетянутая бумажной ленточкой, отмеченная печатью и какой-то росписью. Пачки эти приятно оттопыривали карман его старенького пиджака, и он, выйдя из подъезда издательства на солнечный воздух июньского дня, переживал прилив счастья и от впервые непривычно увиден-

ной и такой знакомой фамилии над рассказом в толстом журнале, и от долгожданного богатства, сладострастно давившего пачками на грудь.

В первом же табачном киоске он купил неправдоподобно дорогие папиросы «Герцеговина Флор» и в полусне наслаждения, забыв про долги, про неудобную, с нечистыми обоями комнату, снимаемую им возле Павелецкого вокзала, пошел по улице, летней, пестрой, горячей, в тени облитых полуденным зноем тополей. Он ликовал, он глядел на лица прохожих и радостно думал: нет, они не знают, что его имя сейчас вроде бы отделилось от него, что везде в газетных киосках продают новый журнал, в котором напечатан его рассказ, им написанный, им рожденный за шатким обеденным столом той неудобной комнатки с отставшими, пожелтевшими обоями, и никто не знает, что он наконец может заставить этих прохожих, этих незнакомых людей на улице восхищаться, грустить, удивляться, и что он богат сейчас, и отдаст долги (комнатка, обеды хозяйки), и купит себе костюм, белье, ботинки, и еще останутся деньги для спокойной работы, чтобы снова удивлять людей и заставлять их преклоняться перед его благословенным талантом.

На углу он долго ходил вокруг газетного киоска, рассматривая сквозь нагретое солнцем стекло обложки книг и журналов, однако боковым зрением наблюдал за прохожими, покупающими свежие газеты, последний номер «Огонька», и взгляд его поминутно останавливался на названии толстого журнала, в котором был напечатан его рассказ. Он все время помнил запах типографской краски, исходивший от прекрасной гладкой бумаги, где стояла его фамилия, от печатных знаков и фраз, странно и черно заполнявших первую страницу, наизусть помнил начало рассказа, заранее представляя, что мог почувствовать человек, прочитав ее после заглавия «Однажды осенью», как казалось ему, дышавшего самым грустным запахом осени: «Дождь шумел в саду, стучал по крыше, по навесу крыльца, ветер косо гнал по лужам темные кораблики опавших листьев...» Он так неудовлетворенно работал над начальной фразой, уже написав весь рассказ, так длительно отшлифовывал ее, удлинял, сокращал, переставлял слова, убирал эпитеты, что она снилась ему как сладострастное наказание, как мука, – но в этой муке было наслаждение, и оно не имело конца, оно не прекращалось.

Покуривая папиросу, будто бы в состоянии рассеянной задумчивости, он ждал у киоска того сладкого тщеславного момента, когда кто-нибудь купит журнал с его рассказом, и про себя повторял наизусть начальную фразу, что должна обязательно броситься в глаза на первой же странице: «Дождь шумел в саду, стучал по крыше...» Какая все-таки это была отточенная, восхитительная фраза, заставляющая, конечно, читать дальше, не отрываясь, в особом грустном восторге перед осенними сумерками в маленьком городке на берегу реки с оголенным октябрьским садом.

Лицо старика продавца за стеклом киоска было до унылости будничным, он продавал газеты, отсчитывал мелочь двумя обмотанными несвежими бинтами пальцами, после чего доставал из-под полочки бумажный кулечек и равномерно жевал, оставляя на подбородке крошки лимонных вафель.

«Что такое? Почему не покупают журнал? – думал Никитин, глядя на вяло жующего продавца, который, разумеется, должен был отлично знать о серьезности и популярности толстого журнала и вышедший номер предлагать каждому. – Сказать ему о журнале или не сказать?»

Он торчал у киоска минут двадцать, мешая здесь, его толкали, и старик продавец вдруг подозрительно уставился на него, привстав из-за кип газет, спросил скрипуче:

– А вам что, молодой человек?

И тогда с запылавшим лицом он взял журнал со своим рассказом, просмотрел оглавление, полистал, раскрыл то место, где черным шрифтом ударяла невероятной новизной его фамилия, пробежал первые строчки, сказал не без деланного удивления:

– А, вышел...

– Кто вышел? Новенькое? Автор-то кто? – И, по-мышинному похрустывая вафелькой, продавец взглянул на фамилию, на заглавие рассказа, точно в безрадостную пустыню посмотрел.

– Это мой рассказ, – с насильственным равнодушием человека, который перекупался в утомительном сиянии славы, сказал Никитин, испытывая томящее удовольствие от некоторой вопросительности в выцветших глазах продавца.

– Вы автор?.. Вы? Пишете? Так-та-ак!.. Никогда не видел таких молодых авторов... Вы, стало быть, писатель? Приятно видеть...

– Да, это мой рассказ, – повторил Никитин, нахмурясь, и полез за деньгами. – Дайте мне два журнала. То есть три журнала, пожалуйста. У меня нет ни одного экземпляра.

Он явно солгал – у него было два авторских экземпляра, а ему хотелось купить всю стопку вот этих приятно отливающих фиолетовыми обложками, еще не тронутых никем журналов, что были в киоске, купить с необъяснимой и алчной жадностью, будто могли они в одну секунду исчезнуть из киосков, – и тогда не будет печатных доказательств его авторства, так чудодейственно что-то решившего в его жизни.

– Прозаик Никитин? Ты, что ль? Опус свой скупаешь? Здорово, что ль!

Сильно окающий голос толкнулся в затылок Никитина, прозвучал бесцеремонно дерзким артистическим панибратством, и он поежился, лоя ладонью высыпаемую ему продавцом сдачу, обернулся, увидел молодого поэта Василия Вихрова, уже печатавшегося, уже многим известного в литературных кругах. Был тот ржановолос, широкоплеч, шумен, похож на молодого Есенина не только молочно-здоровой деревенской внешностью, но и манерой читать стихи гулким баритоном нарастат: Никитин слышал его раз на студенческом вечере в университете.

– Прозаик... Талантище!..

Вихров, в потертом, помятом пиджаке, ворот поношенной рубашки распахнут, плохо причесанные волосы спадали на крепкий лоб, обрадованно, подобно веселому сельскому парню в порыве чувств, фамильярно облапил его сзади, говоря звучным распевом:

– Читал рассказ, читал, мы с тобой соседи в журнале, моя баллада там напечатана, не прочел? Прочти! А я твой опус прочел, – хорошо, здорово! Как у тебя там? «Огоньки шевелились в темноте», что-то вроде так... Это, брат, прямо строка из стихов! Талантище ты, Никитин, прорвешь пелену и в Чеховы на белом коне выедешь! Мо-ло-дец, прозаик, мо-ло-дец!

– Ты в какую сторону? – спросил, краснея, Никитин и покосился на продавца, который пожевывал вафельки, прислушиваясь к барабанному баритону Вихрова. – Ты не в центр?

– В центр так в центр! Пошли. Гонорарий получил? Обмоем? Твой рассказ, первую ласточку, и мою балладу! Посидим где-нибудь. Поговорим за жизнь. Поедем в Парк культуры, на чистый воздух! У тебя как – дети не плачут? Жена не ждет? Теща со скалкой не встречает?

– Нет, я один.

– Потопали на троллейбусную остановку, Чехов! Грех первый рассказ-то не отметить! Чтоб дорожку обмыть и выстелить чистенько, понимаешь ты. Белой скатеркой в славу! Прозаик, чертище, божья искра у тебя, понимаешь ты?

Никитин хорошо помнил, что сначала звенела в душе легкая праздничная радость («наконец-то случилось важное в его жизни, удивительное!»), и оттого, что напоминанием о случившемся лежали рядом на столике журналы с его рассказом, и от знойного солнечного июньского дня, чудесно сверкающего в густой листве Центрального парка, в разноцветных стеклах летнего кафе, куда они зашли в эту дневную пору, и от первой выпитой рюмки, приятно затуманившей нескончаемые его муки работы по ночам, и оттого, что открывалось новое и прекрасное в его жизни, он неизменно чувствовал веселую доброту, растроганность, щедрость, любовь ко всем людям, к предметам, к прохладной тени на полу, к жаркому солнцу

начавшегося лета, – на терраску веяло запахами дерева, пресной листвы, нагретым воздухом чистеньких и подметенных вокруг кафе аллей.

Он с непроходящим наслаждением слушал Вихрова, много говорившего о поэзии прозы, о деталях рассказа, о боге, который волшебным образом водит кончиком пера в магические мгновения работы, о том, что некоторым фронтовикам-единицам выпала судьба, посчастливилось остаться в живых, чтобы сказать то, чего другие не скажут. И, слушая Вихрова, влюбленно глядел в его здоровое лицо, в искристые голубые глаза, страстные и горячие увлеченностью пойманной мысли, на ржаные волосы, падавшие на лоб, и думал, какой все-таки любопытный парень этот Вихров, как самозабвенно верит в искусство и работу, в кристально отточенное изящество слова, над чем ежедневно мучился сам. Он слушал и укорял себя за то, что не знал его так близко раньше, до этой встречи, а знал лишь, что он воевал, заканчивал университет, печатался и слишком подчеркнуто окаялся, играя под простоватого парня.

Вихров произносил тосты за грубую и мужественную прозу, за женственную поэзию, за всю литературу, за ненормальных человеческих особей, так называемых писателей, которые выдумывают вторую жизнь божественной волей воображения; потом Вихров начал читать последние, еще не опубликованные лирические стихи. А Никитин чем больше пил, тем больше восторгался Вихровым, его талантом, умом, душевной тонкостью и после каждого прочитанного стихотворения говорил: «Великолепно, здорово, отлично!» – и порывался обнять его в избытке восхищения и, окончательно покоренный, раскрытый, обнаженно-добрый, дважды поцеловал его, едва не плача от любви.

Но, растроганный наплывом восторга и доброты, он с внутренним ликованием все время помнил: судьба поставила значительную и драгоценную веху на нелегком его пути. Да, началась новая полоса его жизни, долгожданная, счастливая; этот первый напечатанный в толстом журнале рассказ должны заметить, появятся статьи на полосах газет, мнения критиков, единодушно утверждающие свежий дар одними даже заголовками «Талантливый рассказ» или «Талантливая лирическая проза». И будет радостное признание, начало известности, имя его откроется лучезарной вспышкой и станет любимым. И сбудется наконец давняя и лелеянная его мечта, как бы пришедшая из сладкого сна: он едет в метро, в троллейбусе, случайно бросает взгляд на девушку, читающую книгу, и видит свое имя на обложке, свои строчки на страницах, знакомые фразы, его фразы... «Он хлопнул дверью и сбежал с крыльца под шумящий дождь в тополях...» «Я не встречу, – сказал он грубо. – Прощай!» – «Нет, – сказала она и погладила его по плечу. – Я приеду, даже если ты не встретишь...»

Он тоже произносил тосты, пил, предлагал выпить еще, слушал стихи Вихрова, умилялся и голосом Вихрова, и его совсем на днях написанной любовной лирикой, пронзительной, грустной туманностью ощущений двух людей, его и ее, что расстались осенью на вечернем полустанке, озаренном тлеющим над рельсами закатом, думал влюбленно, что несомненно и навсегда обрел сегодня друга, единомышленника, одинаково чувствующего, одинаково понимающего, и был одновременно переполнен неизбывной радостью: «Да, мы сидим здесь, а ведь напечатан мой рассказ, и впереди еще много будет рассказов!..»

В этом летнем немногочисленном кафе они сидели до сумерек и не переставая читали стихи, с жаром и страстью говорили о вечной магии точного слова. («Слушай, слушай, какая простота и гениальность: „Звезда печальная, вечерняя звезда! Твой луч осеребрил увядшие равнины...“ Или вот: „Я помню чудное мгновенье: передо мной явилась ты...“ Это же с ума сойдемь: „Передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты...“ А ты вот вникни только: „Россия, нищая Россия, мне избы серые твои, твои мне песни ветровые – как слезы первые любви!“ Написать такое – и помереть спокойно можно! Великая литература, мировые гиганты!») Спорили, соглашались, перебивали друг друга, плакали, теперь повторяя наизусть волшебные строки любимой прозы («Тамань – самый скверный городишко из всех приморских городов России...») – вот удивительное начало рассказа, вот удивительное колдов-

ство настроения! Лермонтов бесподобен! А Чехов – как он умел заканчивать свои рассказы! Помнишь фразу: «Мисюсь, где ты?»), опять произносили тосты, пили на десерт какой-то парфюмерно-сладкий ликер, запивали его кофе, объяснялись друг другу в любви, клялись в верности литературе, глаголу и эпитету, во взаимной мужской дружбе оставшихся в живых фронтовиков («Единицы нас, Вадим, остались, единицы!») и, наконец, будто вынырнули из тумана, опомнились – голубизна сумерек сгущалась в аллеях парка. Расплатились щедро и оба встали под насмешливый шепоток официантов, – видимо, несмотря на щедрую широту платившего по счету Никитина (он искренне обиделся, когда Вихров полез за деньгами), принимали их за не совсем нормальных людей: разговор о литературе, крики, споры, слезы на глазах и обтрепанные пиджачки являли непонятное и загадочное противоречие.

А когда пошли по аллее парка, подуло предвечерней прохладой по разгоряченным лицам, Вихров, потный, возбужденный, широко расстегнув на выпуклой груди рубашку, ржаные волосы прилипли ко лбу, охватил одной рукой Никитина и в хмельном упоении, не в силах остановиться, улыбаясь чему-то, начал читать стихи Бунина проникновенным, чуть охрипшим голосом.

«Отличные стихи, – думал потрясенно Никитин, вслушиваясь в сниженный баритон Вихрова и вместе слушая счастливо поющую струнку в самом себе. – Все отлично, и мне не стыдно, что я немного пьян. Но почему мы встали и так рано ушли из такого уютного для разговора кафе?»

И как-то невозможно было Никитину подумать и согласиться, что вот сейчас они выйдут из парка в толпы прохожих на темнеющих улицах, где бледным светом зажигались фонари, и расстанутся, то есть Вихров кончит читать стихи, перестанет говорить об алмазном блеске слова в поэзии Бунина, сядет в троллейбус, уедет куда-то на окраину Москвы, а он, Никитин, доедет в метро до Павелецкого вокзала и за углом переулочка увидит на втором этаже старого, облезлого дома окно своей унылой комнатенки, пахнущей плесенью и обветшалой, древней мебелью. Нет, нет, их разговор и восторг, их доброту друг к другу, к литературе, ко всем людям невозможно было просто так прервать, закончить: ведь все было сегодня необыкновенно!

– Честное слово, Василий, мне не хочется домой, и рано еще, – сказал Никитин. – Может, пойдем пешком до центра?

Тогда Вихров предложил «на посошок» просвежиться по Москве-реке на водном трамвайчике, вечерами свободном, не заполненном пассажирами, курсирующем до Кунцева и обратно, сесть можно на пристани в Парке культуры, а сойти где-нибудь в городе, – и Никитин обрадовался этому предложению.

На речном трамвайчике зашли в буфет, чтобы выпить по последней рюмке коньяку, и здесь Вихров донжуански мигнул буфетчице, низенькой, полногрудой, черноглазой, в накрахмаленном халатике, нараспев прочитал ей лирическую строчку из Блока: «И каждый вечер, в час назначенный...» Буфетчица захихикала, расставляя на влажном пластике рюмки, кокетливо повела бровями: «Студенты, видать? Стипендию получили? Празднуете?» – а Вихров přátельски обнял Никитина и сказал ей, что перед прекрасными очами прелестной женщины молодой, талантливый писатель, и посоветовал ему немедленно подарить, сделать дарственную надпись на экземпляре журнала с рассказом: «Пусть, Вадим, читает народ...»

Никитин, сконфуженно переспрашивая ее имя, тут же быстро сделал надпись в журнале под заглавием рассказа и, расплачиваясь за коньяк, принял вид богатого человека, не считающего деньги, не обратил внимания на сдачу, положенную буфетчицей на мокрое блюдечко.

Затем совсем одни они сидели в нижнем, ярко освещенном салоне, заказали зачем-то шампанское, снова говорили, читали стихи, смеялись, обдуваемые водяной прохладой, нефтяным ветерком в открытые окна, за которыми шла, шумела мимо бортов москворецкая волна; трясся пол от глухой вибрации винтов, город сдвигался, поворачивался куда-то, плыл огнями над гранитными набережными, и спустя немного стало в салоне хаотично, уютно и весело.

Никитин был в состоянии любвеобильного блаженства (ему не жалко было снять и рубашку), сорил деньгами, угощал шампанским и шоколадом черноглазую буфетчицу, ее помощницу, сонную толстую женщину, угощал коньяком двух парней-матросов с наглыми загорелыми лицами, то и дело забегавших поглазеть, как гуляют в салоне два чокнутых чело- века, ничем не похожих на писателей. А буфетчица не без ложной угодливости приносила теперь на подносе бутылки прямо в салон; Никитин совал ей небрежно скомканные деньги, не спрашивал сдачу, потому что не прекращались тосты за литературу, за жизнь, за будущее, за прекрасных женщин. Потом Вихров, притомленный несколько, закрыл глаза и, подперев кула- ком скулу, попробовал было затянуть густо и рокочуще «Из-за острова на стрежень», женщины подтянули сначала дружно, но спохватились, зашикали друг на друга («Тише, а то подумают – фулиганство!») и, хихикая, стали показывать пальцем наверх, где на открытой палубе сидели, кутаясь в плащи, два-три пассажира, они должны были сойти, кажется, в Кунцево.

И в наркотическом угаре разговоров, в непрекращающемся возбуждении Никитин время от времени не особенно отчетливо слышал голоса среди накуренного, оголенно освещенного салона, видел незнакомые лица, женские и мужские, недоверчиво удивленные его щедростью, неблизкие ему, неинтересные («Почему эта буфетчица хихикает поминутно и морщит губы, и поглядывает как-то намекающе? И почему у нее красивые глаза и какой-то плоский некраси- вый рот?»), и тогда притупленный укол мутного стыда («Что же со мной происходит? Зачем я это делаю?») словно отрезвлял его.

Только в двенадцатом часу они сошли с трамвайчика вблизи кинотеатра «Ударник», и Никитин, еще не остывший, еще расслабленный всем этим необычным днем и необычным вечером, начал убеждать Вихрова, что посадит его в такси, не пойдет домой, пока не проводит его до такси... И они двинулись к стоянке по набережной в сторону Балчуга, спотыкаясь, часто останавливаясь возле каменного парапета, чтобы закурить (курили же беспрерывно) и до конца высказать свою расположенность друг к другу, найденное единство душ и еще раз напомнить о том, что обязательно должны встречаться.

Им повезло: зеленый огонек такси одиноко замерцал на повороте из провала Пятницкой, приближаясь к стоянке около моста, они заорали «але!», замахали руками, машина затормо- зила. Они по-братски обнялись, расцеловались – и Никитин вдруг остался один, неуспокоен- ный, взбудораженный, казалось, вмиг мелькнувшими часами разговоров, питья, курения, еди- номыслия, восторженных открытий, и вроде сейчас ему не хватало чего-то.

На Овчинниковской набережной, напротив кинотеатра «Заря», без зажженных реклам, по-ночному темного, на углу приглашенной Пятницкой, редко желтеющей верхними окнами, сидела на парапете под фонарем группа парней, и, вероятно, после киносеанса, они, посмеива- ясь, переговаривались, поплевывали с ленцой в черно-маслянистую воду Канавы; один, суту- ловатый, кряжистый, в коротеньком пиджачке, мотая широкими брюками, как бы от нечего делать, для собственного развлечения, выбивал чечетку на тротуаре.

– Эй, друг, нет закурить?

Парень этот свистнул, завидев на набережной одинокого Никитина, и когда тот, слегка пошатываясь, подошел, охотно протягивая пачку («Пожалуйста!»), парень беззастенчиво, стремительно подцепил ногтями сигарету, поинтересовался, кивнул на остальных:

– Всем даешь? У всех кончилось, пусто у нас, кореш...

– Да, да, конечно, закуривайте, ребята.

Его обступили, толкаясь, и потянулись к пачке, быстрые пальцы жадно выдергивали сига- реты; под светом фонаря окружили его чужие лица, молодые, настороженные, чудилось, не доверяющие его щедрости, но оттого, что было сегодня в Парке культуры и в светлом салоне речного трамвайчика, оттого, что сегодня свершилось в его жизни, он, рассовывая в руки пар- ней сигареты, улыбался им, говорил с наивной широтой счастливица:

– Какая же это ерунда, ребята! Догадываюсь – нет денег на сигареты. Все мне знакомо. У меня бывало – ни копейки.

– Что? – спросил кряжистый парень, подозрительно ощупывая Никитина остро-раскосыми глазами. – Что сказал?

– Я очень хочу купить вам всем сигареты, ребята, ведь я знаю, что такое, когда нет ни копейки, – сказал Никитин, кивая, подхваченный соучастливой добротой к ним и ничуть не разочарованный этой встречей, где нужна была его помощь, на этой затихшей до рассвета Пятницкой, с потушенными рекламами маленького кинотеатра «Заря», в синевато-летней прозрачности ночи. «Да, да, – подумал он, – мне не хочется идти домой. Я могу хоть целую ночь бродить по Москве, встречать поздних прохожих, закуривать, знакомиться, разговаривать с ними, вот как с этими парнями. Как это прекрасно – знакомиться с людьми!»

– Знаете что? – сказал Никитин дружелюбно и просто. – Если «Балчуг» не закрыт, пойдете в ресторан, купим сигарет, какого-нибудь вина выпьем, поговорим... Хотите, ребята?

– За чей счет? Кто платить будет? – спросил кряжистый парень в коротеньком пиджачке, но подумал и сейчас же толкнул кого-то в сторону ресторана «Балчуг» за мостом. – Дуй туда!

Сразу двое парней бросились через пустынный мост к ресторану, светившему сквозь зашторенные окна; и видно было, как застучали они в задрезжавшую на всю улицу стеклянную дверь, затем появилась за стеклом фигура швейцара, донеслись требовательные голоса: «Открой, папаша!» – но дверь не открылась, темная фигура швейцара исчезла, после чего двое эти вернулись; один из них возбужденным шепотом сказал что-то кряжистому парню, и тот, хмыкнув, свинцово уперся глазами в переносицу Никитина, спросил, растягивая слова:

– Ты, фраер! Знал, что «Балчуг» закрыт?

– Жаль. Что ж, очень жаль, – разочарованно сказал Никитин и вздохнул, – а мне хотелось, ребята...

– Врал, бухарик? – со злой, игривой нежностью выговорил парень и, откинув пятерней лохматые волосы, будто хотел ударить, подмигнул остальным, стоявшим молчаливой группой. – Угощать хотел, а денег нет! Денег-то у тебя – ни копыя!

Никитин смотрел на скуластое лицо его, не ощущая опасности, как не ощущают боли или насмешки сверх меры счастливые люди, и было лишь непонятно, даже оскорбительно ему подозрение в обмане.

– Нет, – сказал он искренне. – Ты напрасно... деньги у меня есть.

– Врешь, негу у тебя гробшей! А ну покажи! – угрожающе и требовательно крикнул парень – и в этом резковатом «а ну» зазвучала нотка жесткой силы, и еще нечто хищное, ночное возникло в раскосых глазах, в широких его скулах.

И Никитин, уже трезвея от его недоброго взгляда, от этого неприятного голоса, увидел, как группка парней, исподлобно наблюдая за ними, чуть-чуть зашевелилась под фонарем и замерла в напряжении. «Сейчас что-то должно случиться», – подумал Никитин, разом почувствовав сквозной холодок в груди, и, понимая глупость положения и не понимая того, что он зачем-то вроде бы должен оправдываться перед парнем, усмехнулся обиженно ему.

– Ты большой чудак, я вижу, – сказал Никитин, нащупал в заднем кармане скомканые деньги, наугад вынул новенькие пятьдесят рублей и показал их. – Нет, я хотел с вами, ребята...

В ту же секунду рука парня крючкообразно мелькнула впереди, движением защитительного инстинкта Никитин отдернул свою руку, пальцы парня успели вцепиться в край пятидесятирублевки, рванули к себе, выхватывая ее, послышался звук разрываемой купюры, и парень торопливо отступил на шаг, выговаривая хриплой задышкой:

– А ну, отдай всю бумагу, бухарик! Отдай сюда!

Позже, вспоминая ту ночь, Никитин думал, что если бы тогда парень спокойно попросил у него денег – пятьдесят или сто рублей, то он не отказал бы ему и был бы, наверное, доволен, совершив пьяный акт добра. Но было иначе.

– Зачем же? – шепотом выговорил Никитин, сначала не сообразив, почему парень не попросил у него деньги, а злобно, несправедливо попытался вырвать их, и мгновенная знойная волна темной жути, слепящей ненависти к этому парню, к его коротенькому пиджачку, к раскосым воспаленным глазам, к каждому его отвратительному жесту опалила Никитина; он договорил, заикаясь даже:

– Тут вас шестеро... а я с тобой хочу драться, п-парень! Ну что ж, д-давай!..

И, готовый драться, сунул клочок денег в карман, стиснул кулаки, шагнул вперед отрешенно.

– Не подходи, падло! Я сифилитик! Не подходи! – взвизгнул парень, исказив рот не то судорогой испуга, не то изумлением при виде внезапной отрешенности Никитина, и, отхаркнувшись, плюнул; плевок не попал в лицо Никитина, белым пятном прилип к груди, и только, как в тумане, уловив узкие глаза парня, Никитин кинулся к нему и с ненавистью и наслаждением ударил его в костистый, лязгнувший челюстью подбородок, в мокрый рот, захрипевший заглушенным криком. Но сзади что-то черно и сильно оглушило его по голове, фонарь качнулся вбок, мостовая жестко царапнула щеку, замелькали, хрипя, вскрикивая, тени над ним, забегали вокруг, заскакали ноги, по-звериному пронзил его чей-то голос: «В печенку бей, в печенку!» И он, чувствуя острые удары ног под ребра, под грудь, охваченный одной сумасшедшей и мстительной мыслью: «Подняться, лишь бы подняться!» – рванулся с земли, упираясь в асфальт двумя руками, невероятным толчком вырвался из топота, толчеи окружавших его ног, метнулся вправо, влево среди полубезумных, почти нечеловеческих лиц, объединенных одинаковым оскаленным волчьим выражением, будто возбужденных видом крови. И без ощущения боли ударов, подчиняясь незнакомой, взорвавшейся в нем дикости, крича неистово и страшно: «Труссы! Сволочи!» – мотался в окружении тел, бил по этим ненавистным лицам, нагибаясь, выворачиваясь, едва не падая от бешено вложенной в сжатые до онемения кулаки силы, как обреченный дорого отдать свою жизнь. В то же время, безобразный, наверно, упоением неистовства, он, еще одержимый памятью зрения, лихорадочно искал взглядом лицо широкоскулого парня, стараясь прорваться лишь к нему, но тот возникал и пропадал за чьими-то спинами, плечами и там пронзительно вскрикивал подсказывающим голосом: «На землю его, на землю!»

Но когда на счастливый миг (это был счастливый миг!) он, задыхаясь, слыша, как трещит на нем пиджак, разрываемый в разные стороны крючьями рук, сквозь удары и пинки прорвался к парню, тот издал устрашающий взвизг горлом, отступая вдоль парапета набережной к мосту, и тут словно бы вокруг образовалась пустота, прекрасная, справедливая пустота, теперь никто почему-то уже не мешал им, а парень отходил по мосту боком и спешащими рывками вытаскивал что-то из кармана брюк, и вдруг блеснул длинной иглой распрямленный складной ножичек с серебристым тоненьким лезвием. И странно было – этот стальной блеск ножичка не вызвал у Никитина страха, наоборот, его слепо, неудержимо и ярко кидала к парню какая-то разжатая до беспомысленности пружина ненависти, которую ничем не мог в себе сдержать, и он упоенно, молитвенно, как в бреду, шептал:

– Ну, отлично, теперь мы один на один... Теперь я узнаю, стрелял ли ты когда-нибудь по танкам... («Зачем я говорю это? Почему это я говорю?») О, теперь все будет как надо, трусливая ты сволочь... Такие и в войну были! О, такие, как ты, были еще в Древнем Риме... («Какой Рим? Зачем?») Ну что ж, ты или я?.. Посмотрим! Ты или я?..

– Не подходи-и! Сердце проколо! – заревел горловым голосом парень, испуганно тряся лицом, так что волосы забили по вискам его, и, прижавшись боком к перилам моста, остро выставил кулак с посверкивающим в нем прямым лезвием.

Должно быть, так озверело, устрашающе и утробно кричал первобытный человек, встречая черной ночью сильного врага мужского рода близ своей пещеры, замахнувшись, нацелясь смертельно-угловатым камнем, чтобы сделать прыжок и раздробить череп самцу чужого пле-

мени. Но пещеры не было, не было первобытного человека, была спящая Пятницкая, закрытый ресторан «Балчуг», мост через Канаву, широкоскулый, с омерзительно разбитым носом парень и он, Никитин, неузнаваемо окровавленный, истерзанный, в разодранных пиджаке и рубахе, глотавший кровь, наполнявшую рот, готовый в бешенстве и правоте бить, ломать, разрушать, защищать себя, свою наивность и что-то еще нематериальное, оскорбленное, раздавленное, но все-таки в те секунды Никитин уже не был Никитиным, а это придавало пещерно-дикое безумие тому, что он делал тогда...

– Хочу, чтобы ты все запомнил, сволочь!.. Нет, я этого не хотел!.. А вы шестеро на одного... Нет, нет, не в деньгах дело! – одеревенелыми губами шептал бредово Никитин, подступая к парню, к напряженно подрагивающему в его кулаке тоненькому, как игла, лезвию. – Ну, спрячешь нож? Или не спрячешь? Спрячешь? Или?..

– Не ле-езь! Проколю мошонку, падло! – опять взревел парень первобытным голосом угрозы и страха.

И в следующий миг Никитин почувствовал – по левой кисти болью скользнуло горячее, твердое, шатнулись впереди выкаченные злобой воспаленные глаза парня, черно открытый, сипом дышащий рот, на короткий момент увидел кровь на левой кисти, тотчас понял, что парень задел ее ножом, и, отклонясь, изогнувшись, правой рукой ударил его снизу в подбородок, услышал животный взвизг, выкрик ругательства, и опять перед ним промелькнуло полосами измазанное по скулам красным лицо парня, выкаченные из орбит глаза, и он снова ударил по близкому, влажному, отвратительному лику, с мстительным сладострастием вкладывая в эти удары нечто жгучее, клокочущее в его душе, кипящее и невыкипающее.

Потом сзади что-то тяжелое и темное обрушилось на него, резким толчком свалило с ног, и посреди суматошного топота вблизи головы, пинков, свиста, сквозь звон, заложивший уши, дошли до сознания два неясных вскрика, похожих почему-то на два обрывка ваты, летящих по воздуху:

– Шухер! Шухер! – И показалось ему: странно опустело везде, и нависла над ним тягуче звенящая тишина.

Тогда он вскочил, выплевывая кровь, шатаясь от чугунного шума в голове, но его властным охватом стиснул со спины какой-то незнакомый человек, говоривший ему: «Тихо, тихо!» – и, как в другом мире, увидел он парня у перил моста. Его держали за плечи два милиционера, жирные размазанные полосы обезображивали его широкий нос, его скулы; ножа не было. Парень, обессиленно вырываясь, дергаясь, не говорил, а выкашливал горлом:

– Шел домой, а он прицепился, гад!.. Пьянь проклятая! Шел домой, а он деньги стал требовать, гад!

А Никитин еле стоял, покачивался на ослабевших ногах, не было силы сказать ни единого слова, он только улыбался страшной улыбкой.

В милиции, куда привели их, парень рыдающим голосом кричал, повторяя, доказывая, что он шел из кино домой, а та вон проклятая пьянь начала приставать, полезла по его карманам и вырвала деньги, полсотни, – и истерическими жестами показывал, каким образом все было: выворачивал наизнанку карманы и потрясал перед дежурным порванной пятидесятирублевой бумажкой. Капитан, брезгливо-суховатый, широколобый, глянул из-за стойки взором внимательной подозрительности, взял обрывок пятидесятирублевки («Н-ну-ка...») и положил на стол. А Никитин, усаженный милиционером на крепкую, обшарпанную скамью, смотрел на парня, вспоминая его ощеренное лицо в момент плевка («Я сифилитик!»), его хрипевший злобой и страхом окровавленный рот во время драки на мосту («Сердце проколю!») – и едва не плакал от бессилия и ненависти: им не дали додраться один на один, там, на мосту, кто-то из тон стаи по-темному, по-трусливому нанес ему удар сзади, свалил наземь, подставив ногу, и сейчас, вот тут, в милиции, где без какого-либо сочувствия не могло быть понимания ни одной, ни другой стороны, невозможно было бы даже рассказать, объяснить подробности, при-

чины всего, что произошло на набережной. Выкрики парня, его объяснения – «пьяный псих, бухарик», приставал, требовал деньги и затем, получив отказ, полез по карманам, чему доказательство – разорванная купюра, – это еще чем-то могло приблизиться к видимости правды, но то, что мог и хотел бы объяснить Никитин, выглядело необыденным, из ряда вон выходящим, ненормальным, а значит, затушевывало истину или являлось неправдой.

«Ведь сегодня, именно сегодня произошло главное в моей жизни, и я, наверное, был счастлив, если это и есть счастье, и просто мне хотелось быть добрым ко всем на свете и к этим незнакомым парням, которых случайно встретил...»

«То есть как это добрым? Конкретнее».

«Ну, у меня были деньги, а у них не было сигарет, и мне хотелось угостить их. Да, купить сигарет, посидеть с ними и поговорить».

«Ночью? С незнакомыми людьми? С какой целью?».

«Вы понимаете – мне хотелось быть добрым. Со всеми. Разве с вами этого не бывает?».

«Мы, гражданин, все должны быть добрыми. Но по какой причине вам захотелось их угостить? Да какое вам дело до них? Вы кого-нибудь из них знали?»

«Не знал. Но разве это имеет значение?»

«Короче говоря, гражданин, вы пьяны были – так шли бы домой спать. Так ведь нормальные люди поступают».

«Нормальные – да».

«А вы что, на учете в психодиспансере? Может, у вас контузия после войны?»

«Пока нет, хотя контузия есть...»

«Где вы работаете?»

«Сейчас нигде. Дома. Вернее, снимаю комнату».

«Как так нигде не работаете? Получаете военную пенсию?»

«Нет, не получаю. После университета работал в газете, потом ушел. На что живу, трудно объяснить. Продал шинель, сапоги, офицерский компас... Что еще? Да, нагрудный знак „Гвардия“ обменял на ботинки. Вернее, подарил его своему однополчанину, у которого два года назад украли в поезде все документы, знаки и ордена вместе с одеждой. А он мне купил и подарил ботинки».

«Значит, вы проживаете без определенных занятий и без трудовых средств к существованию? Так надо понимать?»

«Не совсем так. Средств у меня почти нет. Но я работаю целый день... с утра и до вечера. И ночью. Часто ночью. Почти всегда ночью. У меня нет сна. Вы знаете, как работал Достоевский или Бальзак? А Толстой, Флобер, Ренар? Вы читали „Дневники“ Ренара?»

«Стыдно вам! Вы мне зубы не заговаривайте. Мы знаем, кто такой Толстой, разбираемся. Думаете, милиция, так здесь шухры-мухры, ушами холодными хлопают. Вон как – Толстого выдвинул. Вопрос ясный и конкретный – так чем вы занимаетесь? Род занятий?»

«Чем я занимаюсь? Род занятий? Хорошо, постараюсь ответить. Я с утра до вечера и ночью ищу фразу, нужную фразу и часто не нахожу... Но я хочу, больше всего в жизни хочу, чтобы люди смеялись, грустили, плакали над моим словом. Подождите, какую же глупость я вам говорю! Я другое должен объяснить. Посмотрите, посмотрите же на парня. Как он великолепно лжет! Во имя чего? Он не напоминает вам Иуду Искариота? Не напоминает вам моего командира орудия Меженина, в которого я стрелял в сорок пятом году и не убил?»

Этот диалог, проскользнувший в разгоряченном мозгу Никитина, только померещился ему, как во сне, и, зажимая носовым платком поцарапанную ножом кисть, он, сразу отрезвленный новой душевной болью, увидел порочно-враждебные глаза парня, возмущенно и подбостранно говорившего что-то возле стойки, гнусные темные разводы вокруг его глазниц и разбитого носа. Потом увидел под направленным брезгливым взглядом дежурного свой до неузнаваемости растерзанный пиджак, который с трусливым наслаждением стайного превос-

ходства недавно рвали на нем чужие руки (как будто знали, что это единственный его пиджак), представил себя в нелепой реальности, избитого, грязного, и все свои воображаемые объяснения насчет рода занятий, одержимости Толстого и Ренара, насчет искания слов, любви и доброты, – и странный, всхлипывающий звук, похожий не то на смех, не то на задушенные в горле рыдания, услышал он. И со стыдом удивился, почувствовав, что с ним происходит что-то сумасшедшее, никак не подчиненное его воле, – неподвластный сладкий злорадный смех, неудержимые рыдания душили его, распирала грудь. И он, задохнувшись, глотая этот смех и рыдания, видел в середине серой, текучей пустоты поднятое приказывающе-властное, сухое лицо дежурного, свой раскрытый паспорт на смешно, по-школьному заляпанном кляксами столе, подле чернильницы, рядом чье-то удостоверение, видимо, парня, на удостоверении смятый обрывок пятидесятирублевки и, стиснув зубы, с ужасом подумал: «Что это со мной? Какая-то истерика – хочется плакать и смеяться... Никогда этого со мной не было! Расшатались нервы, я собой не владею? Только бы не этот стыд... перед ними, на глазах у них...».

– Так это было, гражданин Никитин? – зашелестевшим серым песком достиг его слуха голос дежурного. – Вы в сильно нетрезвом состоянии, почти невменяемом, как видно и сейчас, пытались вырвать у гражданина Миляева деньги. Так это было?

– Да, да... – выдавил Никитин, и опять рыдающий смех вытеснился из горла, слезы катились у него по щекам.

– Верните разорванную купюру ее владельцу.

– Да, да, владельцу... пожалуйста...

Решенными движениями беспристрастной правоты крепкие крестьянские пальцы дежурного, отмеченные фиолетовым городским пятнышком чернил на суставе, неторопливо положили на удостоверение обрывок отданной Никитиным пятидесятирублевки поверх другого обрывка, захлопнули удостоверение и протянули его суетливо перегнувшись к столу парню.

– Возьмите, гражданин Миляев, свои деньги. В банке обменяют. Итак, гражданин Никитин, у меня несколько вопросов для протокола.

«Только бы сдержаться... Только бы не это удушье... Я унижаю себя. Я выговорить слова не могу. Что же... Что же это со мной?.. Как с неврастеником. На фронте, если бы такое с моим солдатом случилось, я перестал бы верить в него», – говорил себе Никитин, давась подступающим к горлу комом горького смеха, металлическим вкусом слез, и, чтобы не видно было мучительно-судорожных глотаний, отвернулся, сотрясаясь словно позывами тошноты.

– За решетку таких прятать надо, пьянь рваную!.. Наблюдает он еще у вас тут... – с дозволенным превосходством и подобострастием защищенного от насилия сказал парень и, как хозяин, узнавший свою вещь, поглядел на обе половинки пятидесятирублевки, затолкал их вместе с удостоверением в карман коротенького пиджачка, вновь заискивающе посуетился около стойки. – Мне идти, товарищ капитан? Я ведь рабочий человек, я ведь завтра в утреннюю. Не как другие...

И здесь все разжалось в Никитине. Парень стоял в двух шагах, вблизи деревянного барьера, скулы масляно лоснились, вспухший, осиненный рот зло и победно ощеривался, выкаывая мелкие зубы. И не слова его, не подобострастный тон, не заискивание перед дежурным, а эта торжествующая победу гнусность, раскрытая ухмылкой, на какую-то долю секунды нарисовала в воображении Никитина картину иного торжества, о котором он даже и не подумал тогда на набережной, когда увидел нож в руках парня: да, да, этим ножом, если бы успел, он «проколол» бы и сердце распятого на земле Никитина и, не задумываясь, выколол бы глаза с этой же ухмылкой победившей трюсости.

– А где же твой нож? – выдавил шепотом Никитин и, точно в беспамятстве, захлебываясь смехом и плачем, ринулся на парня, увертливо отскочившего назад, – кулак достал лишь его плечо, жилистое, костистое. Но, отскакивая, парень не удержался на ногах, потеряв равновесие, хлестко ударился спиной и затылком о стену и тут же с хрипящим взвизгом подскочил

к Никитину, которого уже не без крутой силы схватили за руки два милиционера, снова потащив на скамейку, и не ударил, а по-рысьи изловчился страшными твердыми ногтями окарябать лицо Никитина от бровей до щек, целя, видимо, в глаза, и крик его бритвенным лезвием резанул по слуху:

– Видели? Видели?.. Он с ножом на меня!.. Нож он в Канаву выбросил! В Канаву, гад, выбросил!

Дежурный длинными прыжками выбежал из-за барьера, заученным движением поймал, завел обе руки парня на поясицу и так повел его к двери, гневно приказывая милиционерам:

– Обоих посадить! Только не вместе. Ясно? Обоих!

Часа через полтора в сумрачное помещение, насквозь пропахшее нечистым бельем, где на исцарапанной надписями скамье, морщась, вздрагивая, лежал Никитин, вошел милиционер и строго потребовал, чтобы тот умыл лицо и следовал за ним. Никитин умылся под краном милицейской уборной, вытерся носовым платком, и его вторично привели в комнату дежурного.

И, еще переживая чувство унижения при воспоминании о душившем его неподвольном полусмехе-полурыдании в присутствии милиционеров, Никитин вдруг с удивлением и тревогой увидел возле барьера дежурного пожилую сухонькую женщину, бледную, перепуганную, в старомодной шляпке, в стареньких туфельках, она смотрела на него взглядом беспомощного ребенка и повторяла почти шепотом:

– Вадим Николаевич, Вадим Николаевич, что с вами?

Это была его квартирная хозяйка Мария Павловна Стешнова, у которой он снимал комнату, вдова профессора-историка, умершего в войну, – существо доброе, стеснительное, краснеющее от любого грубого слова, – и Никитин, соображая, зачем, каким образом она оказалась здесь, мгновенно представил ее глазами свое разбитое, наскоро умытое лицо, донельзя разорванный пиджак и глухим голосом спросил дежурного, для чего в милиции Мария Павловна.

– Вызвал. По домашнему телефону, который вы сообщили, – ответил дежурный мрачно. – Вот ваш квартирант, Мария Павловна. Хорош? А?

– Я? Вам? Дал телефон? Что за ерунда! – не понимая, сказал Никитин. – Никогда! Я вам не давал никакого телефона!

– Что, что с вами, Вадим Николаевич, что с вами? – растерянно выговорила Мария Павловна и присела на краешек скамьи. – Вы же никогда не пили! Боже мой, кто вас так избил?

– Его избьешь! – заметил дежурный; нетающий ледок стоял в его поднятых на Никитина непоколебимых, как сама истина, глазах. – Вот каким образом, Мария Павловна, на первый раз мы поступим, вот каким образом. На первый раз... Вы от нас берите его и везите на квартиру. Под вашу личную ответственность. Все. Идите. Вот паспорт. Не верится мне никак, гражданин Никитин, что вы статейки в печать пописываете. Напиваетесь и налеты на людей учиняете. Как это назвать?

– Ради бога, Вадим Николаевич, ради бога, идемте скорее отсюда, – забормотала, оробело зашепила Мария Павловна. – Пойдемте домой, голубчик, вам холодный компресс надо. Как же вы сейчас на лицо покажетесь?

Она извинительно закивала старомодной шляпкой дежурному, взяла руку Никитина дрожащими пальцами и потянула остороженько к выходу, вроде бы несколько не уверенная, что вот сейчас ее выпустят отсюда вместе с Никитиным и все обойдется, все станет на прежние места.

– Извиниться бы вам следовало, гражданин Никитин, – сказал дежурный хмуро. – Ни в какие ворота не лезет, набезобразили...

– Голубчик, Вадим Николаевич, извинитесь, ради бога!

– Простите, Мария Павловна, одну минуту... – задержался Никитин, и злая едкость качнулась в его душе; он взглянул на дежурного насмешливо. – Вы правы. Я напиваюсь и по ночам

граблю, вырываю у людей деньги. Вы со всей очевидностью установили истину. И мои деньги отдали этому великолепному, честному парню. Желаю вам всего хорошего. Черт с ними, с деньгами! Но извиниться, к большому сожалению, я не могу.

– Идите, идите! – раздраженно поторопил дежурный. – Болтаете много, гражданин Никитин! Оч-чень много болтаете, хоть и статейки пишете!..

Потом на улице, тихой, побеленной близким рассветом, – четко виден был сереющий асфальт, мостовая, рассеченная полосами трамвайных рельсов, – Никитин, подавленный вызовом Марии Павловны в милицию, неловкостью, все-таки спросил ее, неужели звонили на квартиру, разбудили ночью, справлялись о нем, и стал извиняться за глупейшее и непредвиденное беспокойство, по его вине причиненное ей ни за что ни про что в результате идиотского недо-разумения.

А она сконфуженно слушала его, согласно встряхивала наивной и нелепой шляпкой и ничего не спрашивала, вздыхала тихонько, подобно кроткому ангелу-хранителю, не требующему оправданий.

«Как же я раньше... не знал ее?» – подумал Никитин.

Он жил у нее более года, но за это время, кроме обязательных фраз, они, казалось, не обмолвились ни одним искренним словом.

– Мария Павловна... – охрипшим голосом сказал, проклиная себя, Никитин, охваченный стыдливой и благодарной нежностью к ней. – Мария Павловна, простите... Я был неаккуратен... У меня просто не было денег. Я ведь должен вам за четыре месяца. А вы не спрашивали... У меня теперь есть деньги. Пожалуйста, я сейчас заплачу вам все... Простите меня...

И он поспешно принялся рыться в карманах, собирая смятые деньги, а когда, уже в замешательстве, пересчитал купюры несколько раз – денег, в общем, не было: от трех тысяч оставалось семьсот пятьдесят рублей с мелочью. Он вспомнил летнее кафе в Парке культуры, салон речного трамвайчика, где не Вихров, а он платил за все, и никак не мог взять в толк, почему же так много было истрачено денег – тем более в минуты драки, кажется, никто из парней не успел обчистить его карманы.

– Простите, Мария Павловна, я, по-моему, потерял деньги, – проговорил Никитин, сгорая от собственной лжи, и как-то спеша, неудобно начал совать ей в руку комок денег. – Здесь за два месяца... Остальные я потом, потом. Очень скоро, поверьте мне.

Она с испугом остановилась, пятнисто и ало краснея, что бывало при виде грубости или намека на грубость, замотала шляпкой смущенно.

– Бог с вами, Вадим Николаевич, какие сейчас деньги, послушайте... Не надо, не надо, ради бога. Когда будут, тогда и отдадите. Я потерплю, потерплю, мне сейчас не надо.

– Мария Павловна! – взмолился он. – Я прошу вас!

– Не надо мне, не надо, – запротестовала она и при этом руку протестующе завела за спину. – Идемте же, Вадим Николаевич. Сейчас вам надо холодный компресс на лицо, а то как же вы?... И, пожалуйста, неудобство свое забудьте. У меня ведь сын был. Я многое понимаю...

Он шел рядом с ней, чуточку придерживая под локоть, как мог бы держать только мать, которой не было в живых, и всю дорогу бормотал ненужные извинения, боясь споткнуться и помешать движению ее легкого, сухонького тела.

Много лет спустя, будучи зрелым человеком, восстанавливая в памяти тот день и ту ночь, он испытывал странное, пугающее его чувство: упоение добром, щедростью и любовью было равно одержимому упоению ненавистью.

5

– Нас разъединяли забытые сороковые годы, но... сейчас нас разъединяют политические системы. Я за мир между русской и немецкой интеллигенцией, господин Никитин. Как по-русски? Н-на ваш-ше здоровье!..

– Эта русская фраза уже стала международной. Ваше здоровье, господин Дицман!

Они сидели около камина в большой гостиной госпожи Герберт, ворсистый ковер подстриженной лужайкой зеленел под светом торшеров, пружинил под ногами, потрескивали, несильно постреливали разгоревшиеся поленья, и вместе с благодным целебным жаром и вкусом коньяка, отпиваемого между фразами, Никитин чувствовал некое ироническое веселье духа, готовый вне зависимости от того, какие вопросы хотят и будут задавать ему, заранее безошибочно предположить степень отчуждения своего и чужого, пропитанного долей ядовитого политического скептицизма, всегда возможной межи, даже на этой домашней территории немецкой гостиной, с ее приятным, умиротворенным комфортом, коврами и тишиной, по видимому, особенно располагающей для вечерних разговоров вблизи разожженного камина.

После того как он и Самсонов вошли в гостиную и хозяйка дома, госпожа Герберт, привезшая их на машине из отеля, представила обоих собравшимся здесь, по ее словам, избранным, близким друзьям, после принятых в таких случаях поочередных знакомств, корректных вопросов о дорожной усталости, необязывающих замечаний по поводу сырой гамбургской осени, которая, к сожалению, в нынешнем году необычно дождлива и простудна, после вежливого выяснения, – кто что будет пить, господин Дицман, главный редактор крупнейшего издательства «Вебер», где были переведены последние романы Никитина, с намекающим подмигиванием завладел сразу двумя бутылками (мозельское и коньяк – про запас!) и довольно настойчиво отвел Никитина в угол гостиной, со смехом сообщив остальным, что он на время аннексирует советского писателя для выяснения некоторых истин.

Но госпожа Герберт весело сказала, что она не позволит отдавать русского писателя на растерзание альтернативами немецкому критику, ибо слишком хорошо знает эгоцентризм господина Дицмана, поэтому приглашает гостей к камину, поближе к огню, для общего разговора. И тогда заковылял к столику плотным коренастым телом, уютно развалился в мягчайшем кресле, заблестел лысиной краснолицый издатель господин Вебер, и гибкой змейкой села рядом его жена Лота Титтель, популярная актриса театра, высокая, узкобедрая, говоря хрипловатым, как бы ломающимся отроческим контральто:

– О, я хочу посмотреть на Восток и Запад. Чем это кончится? Объявлением войны?

Ни на минуту не сделав передышки, господин Дицман, одержимый жадностью натренированного ума, вгрызаясь в Никитина, словно обрадованный нечастой этой возможностью, и быстрота его речи, наркотический блеск подвижных глаз на бледном лице, безостановочные движения сухих пальцев, которыми он то сжимал стекло бокала, пригубивая, то живо подносил к островатому носу раскрытую пачку сигарет, порывисто втягивая табачный запах (он бросил курить из-за недавнего сердечного приступа), – его жесты и речь сначала настроили Никитина на полусерьезный лад, на свойственную литературным салонам игру умственных упражнений, он подумал: «Пожалуй, господин Дицман из бывших и ловких репортеров». Но чем дальше продолжалась эта «игра», тем все глубже и серьезнее погружался в нее Никитин, уже заинтересованно поглядывая на нервные руки Дицмана, когда тот, наслаждаясь платоническим вожделием, нюхал раскрытую пачку сигарет. Самсонов по просьбе Никитина переводил дословно только сложные фразы, и вид его был солидно-невозмутимым, пиджак, застегнутый на все пуговицы, круглился, натянутый животом; ему было жарко около камина, капельки пота выступили на лбу.

Госпожа Герберт сидела напротив Никитина, воротник черной кофточки, наподобие свитера, облегал белую шею какой-то грубоватой мужской нежностью, продолговатый золотой медальончик покачивался на тончайшей цепочке, ее волосы, по-русски убранные пучком, поднятые над маленькими ушами, ровно отливали полосами седины, и эта заметная седина загадочным разительным несоотношением разрушала при беглом внимании чересчур аккуратную подобранность ее по-девичьи опрятной фигуры. И Никитин мимолетно подумал, что подобное несоответствие бывает у женщин, ни разу не рожавших, может быть, из-за нелюбви к детям, может быть, по причине аскетической воздержанности, которая заставляет тщательно и всю жизнь ухаживать за своим телом.

Это, видимо, было не совсем так – госпожа Герберт по-монашески не ограничивала себя, пила коньяк, много курила, ее глаза проступали за сигаретным дымом, казалось, налитые тихим возбуждением, пристально светились синей влагой.

Ее взгляд все чаще наталкивался на взгляд Никитина, как-то понемногу раздражающе начинал беспокоить его порой встревоженной мгновенной улыбкой, будто она подробно, украдкой от других, изучала и его костюм, и галстук, и его запонки, когда он отпивал коньяк или зажигал спичку, и ему невольно хотелось пошевелиться под ее взглядом, переменить позу, точно долго и надоедливо фотографировали его.

Раз госпожа Герберт, опуская улыбающиеся глаза, стряхнула пепел с юбки, затем тронула кончиками пальцев медальончик на груди, тогда Никитин не без досадливой подозрительности засмеялся в душе, предположив, что хозяйка дома на самом деле фотографирует его этой штучкой, возможно же, записывает его тайным крохотным магнитофончиком. «Но зачем? Прок-то здесь какой? Вздор и чепуха!» И, кратко ответив на очередной вопрос господину Дицману, он мысленно отверг унижительное свое предположение и, стараясь не смотреть на госпожу Герберт, вдруг вновь почувствовал на себе ее ищущий пристальный взгляд. Как от чужого прикосновения к коже, как от сквозного холодка, он нахмурился, взглянул и так неожиданно близко увидел ее лицо, не успевшее измениться, обмануть его, скрыться за дымком сигареты, что даже озяб, содрогнулся. Он был удивлен ее слабо дрожащей в уголках губ виноватой полуулыбкой-полугримасой, ее вопросительным и нежным, смешанным со страхом, излучением остановленных перед ним глаз, этим, чудилось, знакомым выражением, напомнившим что-то больно, туманно и неуловимо. «Что это напоминает? Что? Может быть, когда-то увиденный во сне синий над фантастическими крышами клочок непостижимого неба, может быть, утренний ветерок в радостном, как детство, солнечном поле с запахами весенних далей?.. Что это? Этого не может быть, я никогда не видел госпожу Герберт, никогда не встречался с ней, только здесь, в аэропорту, впервые... Игра подсознания? Мистика? Совсем хорошо... Не помню, нет, не помню, где я видел этот вопросительный, виноватый и мягкий взгляд. И почему она смотрит так на меня? – подумал он снова и постарался успокоить воображение раздраженным обвинением самого себя в мнительности, но нечто незавершенное оставалось в сознании, некий осколочек неразрешенного беспокойства, какое бывает при поиске утраченной в памяти чужой фамилии. – Нет, не встречал я ее никогда. Сорок пятый год? Война? Берлин? Мы стояли на немецких квартирах? Какая несуразность придет в голову! Помнить выражение взгляда? Я ее где-то видел? Да сколько лет ей было тогда, если уж так? Нет, ее лица я никогда не видел... Ток подсознательности, бред воображения. Однако, может быть, где-нибудь случайно – на улице в Москве, в поезде, наконец, за границей, было очень похожее, оставшееся в памяти? Встречаются же люди в разных концах света с одинаковой внешностью, голосом, фигурой, как известно, двойники... Все это похоже на галлюцинацию! Со мной опять происходит неладное...».

Он знал, что был не очень здоров. В последние годы, после смерти шестилетнего сына Игоря, с Никитиным от времени до времени случалось странное, порой никак разуму непонятное, лишь объяснимое одним – крайним переутомлением, расстройством нервов. Его стали

угнетать ночами бессонные приступы тоски, угрызения совести, необоримого одиночества, – и мучительным удушьем сдавливало горло, заслоняло дыхание, как в те страшные, незабываемые минуты, когда на кладбище поцеловал, прощаясь, ледяной треугольник ротика своего сына и увидел сквозь полуприкрытые его ресницы, опущенные снегом, васильковый, неживой цвет его глаз, всегда сиявших детской открытой радостью, всегда готовых к смеху, игре, едва он с криком и визгом, мотая соломенными волосами, вбегал по утрам в кабинет, словно бы скрываясь от кого-то, и потом с размаху прижимался к коленям, весь пахнувший сладкой птичьей чистотой.

В тот зимний день на кладбище Никитину мнилось, он сошел с ума: он ощутил, или ему вообразилось, что сомкнутый холодный ротик сына с нерастаившими снежинками беспомощно, слабенько шевельнулся в ответ на его последнее прикосновение, и этот пахнувший зимой холодок маленьких губ вполз в него бесконечной, разрывающей душу мукой.

Он не мог оставаться в Москве, в осиротелой, сразу ставшей большой квартире, где еще звучал, жил живой топот, визг, крики и запах Игоря, где в кровати еще лежали его собранные игрушки. Он уехал из города и до одурения, до полной бессонницы, до галлюцинаций работал на даче один, совсем один в пустом доме без телефона, поздними вечерами затапливал печь, часами смотрел на огонь, слыша осторожно скребущуюся возню мышей в старом шкафу, вздрагивая при выстрелах заколенивших в саду на лютом морозе деревьев. Раз глубокой ночью среди полнейшей тишины сидел за столом, залитым белым светом лампы, и внезапно, весь охолонутый ударом страха, услышал негромкий, вкрадчивый стук в окно кабинета, и, не находя силы выпрямиться, встать, отдернуть занавеску, он с ужасом предчувствия (кто мог стучать в окно второго этажа?) подумал о каком-то предупреждении рока, о каком-то сейчас случившемся несчастье с женой и, мертвея, в ознобе, на непослушных ногах поднялся из-за стола, еле отодвинул занавеску, боясь увидеть и представляя за стеклом грозный и неотвратимый знак судьбы... Но там никого не было. Морозная ночь, чернея вершинами елей в темном небе над крышами поселка, сверкала в пустыне неба, переливаясь созвездиями, и крупная, прекрасная, как первая любовь, голубая звезда нежно и космато мерцала, пульсировала, порхала на одном месте – над заваленным сугробами коридором просеки.

И, прислонясь лбом к мерзлому стеклу, он тогда подумал, что Игорь ушел из этого земного мира, так и не увидев, не познав, не ощутив вот такого ночного неба, в котором было все: жизнь, юность, молодость, ожидание любви, сожаление о невозвратно прожитых годах, и где была непостижимость смерти сына, уже выраженная беспощадной невозможностью видеть ни само это небо, ни это далекое, околдованное порхание пылающей звезды...

На рассвете, в глухой стуже, хрустящей, деревенской, сугробной, он побежал на станцию, разбудил ничего не соображавшего дежурного, кинулся к телефону, набрал номер московской квартиры, а когда отозвался в трубке сонный, захлестнутый испугом голос жены, спрашивающей, что случилось, задохнувшись, ответил шепотом: «Я хотел услышать тебя», – и затем целый час стоял на перроне, курил, справляясь с сердцебиением.

Это тихое сумасшествие продолжалось до осени.

– Вы сказали, господин Дицман, что мы за мир между интеллигенцией. Какой смысл вы вкладываете в свой лозунг?

– Не лозунг, а вера, господин Никитин. В лозунгах я давно разочаровался. Вы хотите коснуться политики?

– Сейчас – нет. Воздержимся по мере возможности.

– Если они объединятся, – проговорил все время молчавший Вебер и залился смешком, погонял соломинкой в коктейле ломтик лимона, – то организуется какая-нибудь чепуха и очень и очень большая говорильня. Каждый день начнут что-то придумывать немыслимое. Какую-нибудь карманную революцию. А я не интеллектуал, а издатель, что буду делать я? Я останусь реалистом. Нет, нет? Я буду по-прежнему выпускать книги на спрос и выпускать программы

по телевидению, скажете, нет? По вечерам во всех немецких домах будут смотреть меня, а не слушать вашу заумную болтовню. Нет? Нет? Детективные фильмы, ревью, хорошая реклама – для немцев гораздо больше, чем словесные закавычки интеллектуалов.

– Теперь видно, что вы капиталист, – сказал Самсонов и пошутил: – Даже по внешнему виду вы похожи на представителя крупного капитала.

Господин Вебер, удобно развалившийся в кресле перед камином, полненький, краснолицый, с крепкой и гладкой лысиной,пил мало, казалось, в дреме потягивал через соломинку лимонный коктейль и после замечания Самсонова почмокал губами, небольшие умные глазки его стали чутко-внимательными.

– Внешне я похож на вас, господин Самсонов. – Принимая шутку, Вебер благодушно очертил соломинкой в воздухе габариты Самсонова. – Похож, хотя по вашим законам вы не имеете права владеть ни издательством, ни акциями телевидения. Нет? Нет? – Он тянул слова, произносил их полувнятно, однако эти вопросительные «Nicht? Nicht?» выговаривал жаргонной скороговоркой, что снижало серьезность его речи и располагало на мирный лад. – Судя по вашим... мм... печатным представлениям, по вашим карикатурам в газетах, – продолжал господин Вебер, и заплывшие смешливые его глазки задвигались весело, – капиталист – это кто? Господин с большим животом, в жилете, сидит на мешке, с долларами, к тому же двумя руками душит за горло бедного голодного рабочего, и зубы оскалены. Нет? Нет?

– Имело место, господин Вебер, – согласился Самсонов, потянув ниточку разговора к себе. – А как иначе прикажете показывать капиталиста? Разве это не отвечает сути?

– В этом случае вы можете со мной не спорить, – совсем добродушно возразил Вебер. – Я давно собираю коллекцию карикатур на капиталистов. Из всех газет мира: я должен видеть свой облик в понимании других. Карикатура в ваших коммунистических газетах – это, надо полагать, политическое отношение к моему классу... И это мне интересно знать. Лота! – И он помахал соломинкой в направлении бутылок на столике, ласково прищуриваясь на молодую свою жену. – Что-что, а считать я умею, по два куска льда ты кладешь в виски. Не сядет твой голос? Нет, нет?..

– Ты почему-то хочешь знать, что думают о твоих деньгах люди, презирующие деньги, – сказала Лота Титтель низким контральто. – Твое хобби приносит тебе сомнительное удовольствие.

– Как у нас, так и у них политическая карикатура – жалкая и грубая пропаганда, рассчитанная на толпу! – вставил господин Дицман и поднес к носу пачку сигарет, вдохнул сильно запах табака. – Я не хотел бы сейчас копать в дрянной политике! От нее болит голова. Не так ли, господин Никитин?

– Так. И не совсем так. Что может современный человек без политики?

– Но, господин Никитин!..

– Вот что я вам скажу, господа, насчет политики без всяких «но», – решительно, по-мужски вмещалась Лота Титтель, и косметически красивое, удлиненное ее лицо с веерообразными ресницами и ниточками бровей страстно порозовело. – Я почувствовала на своей шкуре эту самую политику, если хотите знать! И это было неприятно. Я недавно была приглашена в Польшу, пела немецкие песенки, немного классики, немного мировых шлягеров. Мне заказывали прямо из зала... Меня нигде так не встречали, как в Варшаве! Я просто влюбилась в поляков! Потом я допустила идиотский просчет. Мне нравится песня о Тамерлане. Очень популярная у нас, на Западе. Страшный восточный завоеватель, жестокий и сильный, после того, как завоевывал города, он желал обладать пленницами. И набрасывался на них как зверь – р-р-р! – Она положила янтарный мундштук, заправленный ментоловой сигаретой, в пепельницу, изобразила скрюченными пальцами, как Тамерлан, исполненный дикой страсти, набрасывается на пленниц, и продолжала: – Этот шлягер заканчивается пристальным взглядом в зал и вопросом: «А есть ли среди вас Тамерлан?» Сначала в зале было тихо, мне никто не апло-

дировал. И только через минуту похлопали из вежливости. Вот как я обидела моих любимых поляков...

– Когда вы едете, прелестная Лота, на Восток, следует тщательно выбирать репертуар, – не отнимая пачку сигарет от раздувающихся ноздрей, заметил иронически Дицман. – Восток не всегда воспринимает юмор западного толка. Между нами есть разница.

– Разумеется, господин Дицман, – не без яда сказал Самсонов. – Восток до сих пор занят проблемами белых медведей, мешающих трамвайному движению, и проблемой покупки валенок для посещения театра.

– О, о! – вскричал, оживляясь, Дицман и, бросив пачку на столик, поднял обе руки. – Сдаюсь, атака с Востока! Тогда ответьте мне, господа русские, почему ваши солдаты насиловали немок, когда вошли в Германию?

– Насиловали? Вы убеждены? – удивился Никитин.

– Я знаю, господин Никитин. И не один случай.

– Но, может быть, в некоторых случаях немки сами хотели испытать этого восточного Тамерлана? Возможно считать и так? – ответил Никитин, сохраняя меру светской вежливости. – Категорическое утверждение всегда рискованно, господин Дицман.

Тотчас все повернулись к нему, настороженные повышенным интересом, вроде бы ответ его снял с чего-то табу; госпожа Герберт, опустив глаза, молитвенно тронула медальончик на груди, погладила, потеревила его, натягивая маленькую цепочку; господин Вебер сквозь пыхтение пустил смешок, Дицман заострил насмешливый взгляд, приготовленный к возражению, однако Лота Титтель неожиданно подбоченилась по-крестьянски и, тряхнув по плечам золотисто-рыжими ручьями волос, воскликнула утвердительным голосом:

– Правильно, господин Никитин! Женщину невозможно изнасиловать, если она не желает! А я хочу сказать о другом – о поляках, господа! Я полюбила умных, тонких и музыкальных поляков. Они гостеприимны, воспитанны, они ничего не говорили о войне при мне. Они молчали. Они не хотели напоминать. Когда я сказала, что хочу посмотреть Освенцим, мне ответили, что этого не надо делать, мне, немке, будет неприятно. Тогда я настояла и поехала в Освенцим, и сама увидела настоящий ад. Там можно сойти с ума, достаточно представить! Безмозглые садисты – вот кто они были, военные немцы! Мне хотелось царапать морды нашим эсэс! И вот что я вам скажу: теперь смешно говорить про какое-то дурацкое изнасилование бедных и невинных немок. Нам следует просто заткнуться!

– Война есть война, милая Лота, – сказал Дицман, усмехаясь. – Многим немцам как типу свойствен не садизм, а мазохизм, выраженный в беспрекословном послушании. Война – это приказ. Вы плохо знаете ту пору, прелестная Лота!

– Война – это дерьмо, дерьмо без всяких интеллигентских философий! – скандально оборвала Лота Титтель и дымящейся в мундштуке сигаретой показала на господина Вебера, взглянувшего на нее из глубины кресла нежно-снисходительными, расположенными к любой ее Детской шалости припухлыми глазками. – Мой капиталист не захотел взять на телевидении фильм, который я сняла в Освенциме. Он говорит, что этого никто не будет смотреть, а сам напичкивает программы дерьмовыми американскими детективами, этим киномусором вестернов для канализационной трубы! Одно и видишь: потертые джинсы на острых мужских виляющих задницах и – пиф! паф! уэл, уэл! – Лота Титтель скривила рот, произнося задуманным басом «уэл, уэл», и щелчками языка произвела звуки беглых выстрелов, нацеливаясь мундштуком в бокалы на столике. – Это нужно только телячьим мозгам, которых слишком много развелось за последние годы! Никто не желает как следует ни о чем подумать! Все думают день и ночь о холодильниках и машинах – и хотят делать деньги, как в Америке!

– Лота, – мягко сказал господин Вебер, по-видимому, привыкший к грубоватой несдержанности жены, и спрятал многоопытные свои глазки в бокале с коктейлем, погонял соломинкой ломтик лимона. – Ты в первую очередь очаровательная актриса, а не депутат бундестага

от социал-демократической партии... Нет, нет? Сейчас никто не хочет возвращаться к прошлому, беспокоить себя, усугублять комплекс вины. Нет, нет?

Лота Титтель сделала резкий протестующий жест, опять тряхнула рыжими волосами.

– Потому что политика – все то же дерьмо, Карл! Все как сумасшедшие делают деньги, и скоро Германия превратится в последний американский штат в Европе! Мы скоро не будем видеть неба, как разжиревшие и похотливые свиньи! Тебя нацисты морили в концлагере, Карл, но и ты не хочешь ничего вспоминать! Деньги, деньги, деньги!..

Господин Вебер, с прежней нежностью взглядывая на жену, почесал лысину, пососал через соломинку коктейль и заговорил тоном человека, безобидно желающего утвердить зыбкую непостижимость истины:

– В сорок пятом, когда освободили концлагерь, никто из нас не думал о деньгах, Лота. Я тогда был вот такой... – Вебер оттопырил мизинец. – Нет? Нет? Таким, господа, вы меня не можете вообразить. Я был тощий сморчок и едва мог двигаться от истощения... Но была уже свобода, и я смотрел со слезами на солнце, на траву – была сохранена жизнь, проклятая война закончилась, нацистов уже нет, тогда я был счастлив, господа!..

– Вас освободили русские или американцы? – поинтересовался недоверчиво Самсонов.

– Нас освободили американские солдаты. Они приехали на танках и сломали ворота. Втроем мы вышли из лагеря на дорогу и пошли в американский госпиталь. Со мной был англичанин, сбитый легчик, аристократический молодой человек, окончил Оксфордский университет, и двенадцатилетний мальчик, отец его умер в лагере. У нас не было сил в тот день свободы. Мы тащились по дороге и улыбались весеннему дню, как безумные счастливы. Везде валялись в кюветах разбитые бомбежкой машины, и в одной, помню, – грузовой «опель-блитц» – был разбит сейф с деньгами. Миллионы, целые миллионы марок пачками высыпались на асфальт. Что? Нет, нет? Марки летели по дороге, они скапливались в кюветах, липли к подошвам, просто как рекламные листки. Никто не обращал на них внимания. Жизнь, господа, пьяное ощущение жизни – и больше ничего! И только один наш милый мальчик собрал несколько купюр, как собирают почтовые открытки. Нет, нет? Потом мы дошли до американского госпиталя, упали на пол и заснули как убитые. Когда я проснулся, рядом лежал мальчик и с интересом смотрел на деньги...

– Как? Рядом лежал мальчик! – вскричал с живостью Дицман и закинул ногу на ногу, покачивая узконосым полуботинком, видна была подвижная щиколотка из-под узких брюк, обтянутая красным шелковистым носком. – Очень любопытно, господин Вебер! Нежный двенадцатилетний мальчик?..

– Вы, интеллигенты, – благодушно перебил Вебер, – всюду ищете секс.

– Ловлю вас на слове, господин Вебер! – засмеялся Дицман и заговорщицки стрельнул наркотически яркими глазами в Никитина и Самсонова. – Как звали мальчика?

– Я хотел сказать, – продолжал господин Вебер, – что через три дня было объявлено: старые рейхсмарки входят в обращение. Но и тогда мы не очень жалели, что не набили карманы деньгами... Что бы сделал сейчас я, если бы посчастливилось найти на дороге разбитый сейф с деньгами? Позвонил бы в полицию, может быть, и сошел бы с ума в психиатрической больнице от своей нерешительности. Нет, нет?

Его полнокровные красные щеки как-то плутовски надулись, он пырхнул рассыпчатым смешком, и тут Никитин сказал разочарованно:

– Какой хороший сюжет вы испортили, господин Вебер.

– Я продаю его вам в первозданном виде, – ответил довольный господин Вебер. – Вставьте мой сюжет в роман, который я издам хорошим тиражом, пять процентов от проданной книги мне... Впрочем, можете заплатить черной икрой в Москве. Нет, нет?

– Контракт! Я выписываю чек! Но при условии, если в романе будет нежная история с мальчиком! – ернически воскликнул Дицман и выхватил из внутреннего кармана пиджака

чековую книжку, потряс ею. – Думаю, что при вашем таланте, господин Никитин, вы эту вакантную историю написали бы весьма впечатляюще!

– В шутке явное предложение, – Самсонов толкнул под столиком ногу Никитина. – Ясно?

– Благодарю вас, – сказал Никитин. – Спрячьте чековую книжку, иначе вы соблазните меня лаврами Генри Миллера.

– Сюжет куплен за одну марку, господа! Разрешите мне быть поверенной господина Никитина?

Госпожа Герберт щелкнула замочком своей лаковой сумочки, повертела перед всеми новенькой металлической маркой и вложила ее в карман господина Вебера; тот, побрякивая, подмигивая, похлопал рукой по карману, говоря:

– Сюжет продан слишком дешево. Нет? Нет?

– Благодарю, госпожа Герберт, я готов взять вас в секретари, потому что уверен – не прогорю, – сказал Никитин.

Она улыбкой ответила на этот милый словесный пустяк, а он с насильной попыткой найти твердую точку ощущения опять, как в раздражающем воспоминании забытой, вертящейся на памяти фамилии, подумал, что тот вопросительный, долгий, пристальный взгляд ее, удививший его, и постоянно улавливаемое им внимание ее, и эта полукокетливая улыбка были в схожих обстоятельствах и раньше когда-то: так же в некий час шло тепло от камина, тянулся сигаретный дым под зонтиком торшера, так же сидел он напротив какой-то женщины, говорил ей те же необязательные слова, какие говорил сейчас, и она отвечала ему неясной улыбкой, уже виденной им в смутно прошедшем кругу другой жизни. Но при всем усилии памяти он не мог ничего вспомнить точно, ибо это были не мысли, а тени мыслей, не реальность, а белесая тень реальности.

«По-моему, она чем-то обеспокоена, она в чем-то опасается за меня, – думал Никитин. – И это передается мне ее взглядом, улыбкой и вот этой маркой, которой она очень быстро закончила разговор».

– Как странно, господа, вы обсмеяли время, связанное с войной, – проговорил недовольно Самсонов, скрестив на груди толстоватые руки. – Деньги, мальчик, пикантные истории. В конце концов, есть и серьезные понятия, связанные с прошлой трагедией Германии. Я имею в виду судьбу вашего народа, родины, ответственность перед будущим. За что погибли миллионы немцев?

Господин Дицман вскинулся, подпрыгнул в кресле, всплеснул всеми десятью растопыренными пальцами над столиком.

– Что? Понятия «родина», «народ»? «Ответственность»? Они давно претерпели инфляцию! Они были использованы Гитлером в нацистских целях и дискредитировали себя! Старые понятия «отчизна» и «долг» теперь опять используются маленькой кучкой реваншистов! Вы плохо знаете современного западного человека, если говорите о довоенных добродетелях. У западного человека нет сейчас родины в вашем понимании! У него есть паспорт, есть формальное гражданство, только это соединяет его с государством! На немецком паспорте написано: для всех стран! Для всех стран, господин Самсонов!

– Итак, я уяснил: полнейший космополитизм? Разумеется, так легче жить свободным интеллектуалам в абстрактном мире, так сказать!

– Как? Космополитизм? Абстрактно? Ха-ха! Вы остроумно сказали! – вскричал Дицман. – Космополитизм – прекрасно, каждый свободен в выборе, и никому нет ни до кого дела. Но... свобода на Западе несет с собой и равнодушие, и отчуждение друг от друга – парадокс современного мира! Я не хочу ничего приукрашивать, господин Самсонов! Западный интеллигент одинок. Очень одинок.

– Значит, при диктатуре нацизма не было... этого проклятого одиночества, отчуждения людей, господин Дицман?

– В той степени, как сейчас, нет. Было другое – страх. Сейчас не сажают в концлагеря, не убивают, никого не преследуют... и в то же время отчуждение людей – не меньшая и не лучшая болезнь общества, чем проклятый человеческий страх! Да, это так!

– Тогда разрешите спросить: в чем дело? – упрямо выговорил Самсонов, выдерживая стремительный натиск Дицмана, и сильнее сплел руки на груди. – Выходит, что неплох был «третий рейх» с его понятиями фатерланда и «Дойчланд, Дойчланд юбер аллес»?

– Вы хотите заподозрить во мне приверженца гитлеровской диктатуры?

– Не хочу. Но мне известно, что нацистский аппарат на десять процентов состоял из интеллигенции, господин Дицман. Именно в недалекой истории интеллектуалы Германии нередко играли роль своего рода духовной полиции. Я не знаю вас и говорю о той интеллигенции, у которой руки по локоть в крови, извините за откровенность!

– О, господин Самсонов!.. – с мягким упреком произнесла госпожа Герберт, взглянула на худощавое лицо Дицмана и потупилась.

«Подавил первые огневые точки, сейчас без передышки начнет утюжить траншею, узнаю Платона, – подумал Никитин, испытывая досаду на неумеренную резкость Самсонова, в запальчивости переступившего как бы запретный предел в споре. – Но почему мне кажется все время, что она не хочет никакого обострения спора и встревожена чем-то?»

– Вы обвиняете нас в грехах наших отцов? – спросил господин Дицман, по всей видимости, не ожидавший сердитой прямоты Самсонова, и, всем видом своим отказываясь что-либо понимать, страдальчески завел глаза к потолку. – Вы утверждаете, что кровь на руках наших отцов испачкала и наши руки?

– Говорите, говорите, господин Самсонов! – Лота Титтель, нетерпеливо взмахивая веерообразными ресницами, возбужденная выпитым виски, грубоватым напором этого неуклюжего русского, гибко полулегла в кресле, при этом ее тугая, тонкая, затянутая во что-то серебристое фигурка выражала острейшее любопытство, и Никитину пришло в голову, что она, вероятно, еще не переутомленная жизнью и славой эстрадной певицы, любила смотреть бокс, спортивные состязания, даже случайные драки в кабаках, где с азартным удовольствием могла подбадривать обе стороны стуком кулачка по столу, пронзительным визгом и смехом, чего, наверное, никогда не сделала бы госпожа Герберт, вся тихо-скромная, утонченная, сдержанная.

– Ты слишком много сделал заявлений и задал вопросов, Платон, – сказал Никитин. – Боюсь, они не прояснят сущность дела.

В наступившей тишине, особенно длительной от размеренного потрескивания камина, господин Вебер издал невнятный звук не то хмыканья, не то мычанья, потом хитро заиграли какой-то мыслью сонные его глазки в щелках припухлых век, и он произнес довольно-таки бодро:

– Господин Самсонов, я не отношу себя к интеллектуалам, я издатель, я, с вашей точки зрения, капиталист, но э... позвольте вопрос? Что должно чувствовать наше сердце перед братской могилой или могилой одного человека? Здесь недостаточно слов и сострадания, нет, нет?

– Я говорил про ответственность, – угрюмо возразил Самсонов. – Без ответственности перед прошлым настоящее – лживый рай.

– Э-э... слова ограничивают сами себя – наше сердце неграмотно. Для того чтобы слова обрели свой смысл, необходима ирония. Вы, господин Самсонов, слишком верите в прямые слова и чувства. Разве не возможно, что в этой братской могиле погребены и герой и очень слабый человек, который не вынес пыток гестапо, стал предателем и выдал настоящих героев? И вы сострадаете и ему, как герою. Нет, нет?

– Сострадаю предателю? Проливаю слезы? Никак нет! Наше отношение к людям и к интеллигенции должно разделяться по тому, с кем кто был – с палачами или против палачей.

– Э-э... вы меня не поняли, господин Самсонов, нет. Я о современном человеке.

– Я понял. И я о современном человеке. Вот вы, например. – И Самсонов с тяжелым упорством нацелился стеклами очков на господина Дицмана. – Вот вы... служили в гитлеровском вермахте, воевали?

Нога господина Дицмана, закинутая на коленку другой ноги, задвигалась беспокойно, и задвигался узкий полуботинок под заторможенный ритм его голоса:

– Да, конечно, я служил. Не будучи исключением.

– Где, интересно?

– В Берлине. Я воевал в фольксштурме. В конце войны я был мальчик, господин Самсонов, когда ваши подошли к городу. Это был март, апрель. Тогда вы уже наступали в глубь Германии, а мы оборонялись.

– И сколько вы убили русских? – спросил Самсонов и засопел, скулы его стянулись, окаменели. – Одного? Двух? Сколько?

Среди тишины жарким треском постреливали, пылали поленья на решетке камина, и в молчании этом все разом посмотрели на Дицмана одинаковым взглядом опасливого и принужденного участия, и холодноватой струйкой прошел ветерок напряженности по смеженным векам господина Вебера, по взмахивающим ресницам Лоты Титтель, по прозрачно-бледному лицу госпожи Герберт – так показалось Никитину, едва он сопоставил этот добропорядочный уютный покой утепленной камином, коврами и светом торшеров гамбургской гостиной и страшное кровавое прошлое, вставшее между ними четверть века назад.

– Я не знаю, кого я убил, я не видел, – неровным голосом задавленного волнения проговорил господин Дицман. – Фаустпатроном я подбил один танк. Он назывался у вас «тридцатьчетверка». Я стрелял из подвала на набережной Шпрее, когда ваши продвигались к рейхстагу. Танк загорелся, и больше я ничего не видел. Следующий ваш танк... как его... «И-Эс»... Иосиф Сталин, да? Второй танк заметил нас и выстрелил по окнам подвала. Мы быстро ушли.

Господин Дицман потискал пачку сигарет, понюхал ее, отбросил на столик, упреждая вопрос Самсонова усмешкой:

– А сколько немцев убили вы, господин Самсонов?

Самсонов ответил неприязненно:

– Я служил переводчиком в штабе армии, поэтому не стрелял... Вы фаустпатроном сожгли, если вам верить, один танк, значит, убили четырех советских танкистов. Во имя чего? Вы вольно или невольно защищали нацизм? Так?

– Господин Самсонов! – вскричал Дицман и повалился спиной в кресло, вскидывая нервные руки, мотая кистями рук, точно притворно пощады просил. – Я был мальчишка, зеленый глупец, с одураченным сознанием, я был только барабаном, на котором сколько угодно можно было выстукивать патриотические марши! И... если мы начнем упрекать друг друга, мы никогда не найдем общечеловеческую истину! Мы тоже потеряли более десяти процентов населения! Но я не думал спрашивать, сколько немцев убили вы, господин Самсонов, и сколько убил господин Никитин, а он не служил в штабе, как я знаю... а был офицером артиллерии и, значит, не ангелом во плоти и не гандистом! Не так, господин Никитин?

– Откуда вам так много известно про меня, не говоря уж о моем характере? – спросил Никитин с оттенком спокойного шутивого интереса. – По-моему, мы встречаемся впервые.

– Разве не мог я вас встретить в войну? – засмеялся Дицман, и высокий женственный лоб его замазился испариной. – Ну, например, в Берлине? Возможно? Могло так быть?

– Это почти невозможно, – ответил Никитин полусерьезно. – Я не люблю беллетристику, а тем более фантастику. Я реалист, господин Дицман.

– И в реализме многое возможно, так много, что об этом даже не подозревают сами реалисты! В Берлине сошлись вплотную две многомиллионные армии, и там я мог вас... – Дицман, раздувая тонкие ноздри, взял бокал и как бы задавил неприятно незаконченную фразу глотками вина. – Но я, – продолжал он, салфеткой вытерев губы и пьяно растягивая слова, –

но я, если бы знал, что передо мной русский интеллигент, например писатель Никитин, я не стрелял бы в него...

– Стреляли бы, – уверенно сказал Никитин. – И я бы стрелял, если бы вас встретил тогда. И это опять реализм. И ничего тут не поделаешь.

– Нет, вы бы не застрелили меня, именно вы... – очень тихо выговорил заплетающимся языком Дицман. – Вы были тогда мальчишка и не застрелили бы меня, тоже мальчишку... Я чувствую, я знаю. Или какую-нибудь немецкую девушку... Нет, вы не застрелили бы... Господин Самсонов решительнее вас: бац – и нет еще одного немца, ненавистного немца...

– Шумел камыш или тайны мадридского двора в стиле Кафки, – сказал по-русски Самсонов и вновь подтолкнул Никитина под столом: мол, что это за пьяные штучки, понимаешь ты что-нибудь?

И тут Никитин услышал запнувшийся, незнакомо-умоляющий голос госпожи Герберт:

– Фридрих, перестаньте, пожалуйста, пить, я вас очень прошу. Если вы удерживаетесь от курения, то поберегите свое сердце и от вина. Прошу вас...

Госпожа Герберт сидела, не подымая глаз; слабая, как ниточка, морщинка горечи разъединяла на переносице ее брови, ровные, темные по сравнению с ее белеющими сединами волосами, и это вынужденное замечание по поводу вина, это право упрека господину Дицману, названному ею по имени, Никитин почему-то воспринял позволенным на людях кратким раздражением, возникшим между друзьями, близкими или между мужем и женой и тотчас сглаженным внешним приличием воспитанной хозяйки дома, уставшей защищать гостей от нетрезвой навязчивости тесно приближенного к ней человека. «Кто он ей? Любовник? Родственник? – подумал Никитин. – Я не помню, чтобы она представляла его как мужа». И уже чувствуя, что надо как-то смягчить, ослабить вязкую неловкость между собой, Дицманом, госпожой Герберт и Самсоновым, он хотел пошутить по поводу иррациональной игры подсознания, однако его опередил Дицман.

Хлестко ударив ладонями по подлокотникам, он чересчур быстро, с рыву поднялся, застегивая пиджак, смеясь и сгоняя смех с землистого, худого лица, освещенного блестящими глазами, проговорил с ожесточенной веселостью:

– Да, несомненно, вы умница. Благодарю. Я бы не хотел, чтобы у меня повторился сердечный приступ. Эта штука нужна. – И постучал пальцем в левую часть груди. – До свидания, господа. Мы еще не раз увидимся! Я действительно слаб после болезни. Еду спать!

Он сделал общий поклон и, высокий, прямой, слегка качаясь на долгих ногах, пошел по толстому ковру к двери.

– Фридрих! – вставая, проговорила госпожа Герберт. – В таком состоянии вам будет трудно вести машину! Извините, господа, один момент...

Она догнала его, и перед дверью Дицман, по-прежнему чересчур решительный, обернулся, вздернул плечо, сделал звонкий щелчок пальцами, словно поворотом включал зажигание, ответил ей смехом:

– Когда я выпью, я вожу машину, как гонщик, уверяю! Лучше, чем обычно.

Они вышли, дверь плотно замкнула безмолвие в гостиной, стало слышно похрустыванье, пощелкиванье поленьев в недрах камина, гости преувеличенно вежливо переглянулись, как бы чуть-чуть разочарованные неожиданным уходом хозяйки, прерванным разговором, – господин Вебер, весь утонув в кресле, дыша кругленьким, обтянутым жилетом брюшком, глубокомысленно почистил о жилет ноготь, своими полускрытыми в одутловатых веках глазками рассмотрел под светом торшера его полировку, затем со свистом, с бульканьем потянул через соломинку остаток коктейля из бокала, добродушно заговорил:

– Господин Дицман – великолепный главный редактор, талантливый эссеист, интеллектуальный человек...

– ...которого ты держишь в своем издательстве, как безотказного негра. У него месяц назад был сердечный приступ! – добавила Лота Титтель, наступательно вскинув подбородок. – Не так ли?

– Лота, Лота, Лота... – ласково и миролюбиво возразил господин Вебер. – Ты опять делаешь заявление как социал-демократ, а не как актриса. Нет, нет? Сердечный приступ господин Дицман получил не из-за больших денег, которые я ему плачу, а от неводержанности, свойственной сейчас интеллектуалам, нет, нет?

– Вы не соскучились без меня, господи?

Вошла госпожа Герберт, приятной улыбкой гостеприимной хозяйки, даже спешащей походкой как бы извиняясь за свое отсутствие, но господин Вебер довольно проворно для своего грузного сложения встал, все так же по-домашнему благодушно сияя хорошими зубами, лысой головой, и за ним гибкой веточкой разогнулась и легко вскочила Лота Титтель, подхватывая сумочку с пола, зашуршав серебристой чешуей платья, и оба попеременно с благодарностями за прекрасный вечер начали прощаться с госпожой Герберт.

А она кивала, улыбаясь, однако не задерживала их, что часто бывает в русских домах, и они, отпустив ее руку, стали прощаться с Никитиным и Самсоновым, которые тоже встали следом за Лотой Титтель.

– И нам пора, госпожа Герберт, – сказал Никитин. – Спасибо вам...

– О нет, нет, нет! Одну минутку, господин Никитин! – вдруг перебила его она, смущенно глядя ему в глаза. – Я хотела бы вас задержать на несколько минут. Господина Самсонова, если он не возражает, подвезет до отеля господин Вебер, а я отвезу вас через полчаса. Я хотела бы поговорить с вами о предстоящей дискуссии. Это совсем немного отнимет у вас времени.

«Зачем она при всех отделяет меня от Самсонова? Что за этим стоит?» – подумал Никитин, чувствуя мерзкое неудобство колющего подозрения, какой-то внутренней тесноты, намеренный отказаться и вполусерьез, деликатно, настойчиво сказать об усталости, о головной боли, о предельной перенасыщенности впечатлениями, но проговорил тоном отвратительного самому себе согласия:

– Что ж. – И добавил излишне спокойно, обращаясь к Самсонову: – Я приеду и зайду к тебе. Не ложись спать. Подожди.

– Черт знает... Не приглашают ли тебя ночевать здесь? – вкось кинув сердитый взгляд на госпожу Герберт, ответил по-русски Самсонов, будто говорил о надоевшей погоде, и, багровея, заложил руки за спину, покачался назад и вперед на каблуках перед господином Вебером. – Значит, я могу надеяться на вашу любезность? Вы меня подвезете?

– Конечно, конечно! – тряхнула струями рыжих волос Лота Титтель, распространяя запах лавандовой свежести, и вторично по-мужски стиснула руку Никитина, сказала шепотом: – Нас, немцев, все же есть за что не любить, господин Никитин, стоит только вспомнить войну. О, это особая нация!

Они сидели на кожаном диване в библиотеке.

– Я прошу вас говорить медленнее. Иначе не все пойму.

– Господин Никитин, это было так давно, что мне становится страшно, когда я вижу этот альбом и вспоминаю, какие мы все были глупые и бесстрашные дети. Я хочу вам кое-что показать.

– Я не понимаю, что вы имеете в виду.

– Я имею в виду войну.

Она положила на колени альбом, обтянутый не то бархатом, не то темной замшей, и с некоторой неуверенностью расстегнула металлические замочки, робко полистала толстые листы. Эти махающие листы обдавали Никитина горьковатой сладостью, тленом пожелтелой, тронутой временем бумаги – неизменный запах всех семейных альбомов. Она что-то искала среди фотографий и вроде бы сразу не могла найти, а он видел из-за ее руки мелькающие

на старинном глянце незнакомые лица пожилых мужчин, строго застывших, с кайзеровскими усами, на пробор причесанных, облитых тесными мундирами, – подбородки жестко подпирали стоячие воротники, – мужчин, по-домашнему расположившихся бок о бок с белолицыми женами в белых платьях, в окружении белокурых кудрявых детей; затем на блеске знойного песка возле танка возникла фигура молодого высокомерного офицера, на пилотку накинута маскировочная сетка, новенький Железный крест мерцал под кармашком черной танкистской куртки, и Никитин спросил:

– Кто этот офицер, госпожа Герберт?

– Мой отец, господин Никитин. Он погиб под Тобруком. В африканском корпусе.

– Значит, он служил у Роммеля? – сказал Никитин. – Тобрук – это сорок второй год. А ваша мать... надеюсь, жива, госпожа Герберт? – спросил он из деликатности, в то же время не понимая, зачем она листала в его присутствии этот семейный альбом, который имел отношение к ее родственному клану или, отчего-то казалось ему, к неприятно нервному, неприятно взбудораженному вином господину Дицману, после мутных его объяснений, связанных с войной, после того, как бросил он пропитанное ядом зернышко намека на некую реальную или возможную встречу когда-то, вызвав в душе отталкивающее подозрение.

И Никитин, нахмуриваясь от сознания непредвиденно глупого положения: все разъехались, уехал в отель и недовольный его необдуманном согласием Самсонов, а он, не имея каких-либо веских оснований возразить на приглашение задержаться, остался здесь и теперь принужден был проявлять официальный интерес к родным госпожи Герберт, к чужим фотографиям в чужом альбоме, – думал о своей опасной мягкотелости, податливой нетвердости, уже раздражавшей его сейчас.

– Моя мать умерла в тридцать шестом году, господин Никитин, – проговорила госпожа Герберт. – Но не отца и мать я хотела показать вам в альбоме... Вы не устали, господин Никитин? Я напрасно вас оставила?

– Нет, нет, – ответил он, проклиная эту ненужную свою деликатность, и, злясь на себя, поморщился, потер лоб, неловко сказал ей: – Простите, голова... это пройдет...

– Вам принести таблетку от головной боли?

– Спасибо. Это пройдет.

Она виновато посмотрела мягко светящимися глазами, обе ее руки лежали на альбоме, и тоже, чудилось, в робком замешательстве она молчала, медальончик на выемке груди колыхнулся, поднятый и опущенный дыханием, и Никитин, вдруг остерегаясь ее готовности к чему-то, подумал, что она, видимо, не без колебаний, намерена сказать ему нечто новое, серьезное, важное, чего он может не знать, не ожидать, не предполагать даже. И он проговорил, слыша неестественную спокойную нотку в голосе:

– Я вас слушаю, госпожа Герберт. Вы что-то хотите мне сообщить, кажется. Говорите же...

– Да, я хочу, господин Никитин.

Она взяла сигарету со столика; он предупредительно зажег спичку, она поблагодарила его несмело улыбающимся взглядом, потом все так же робко пододвинула альбом на коленях, спросила негромко:

– Господин Никитин, вам знаком этот дом в Кенигсдорфе? Вы его немного помните?

И тотчас из глаз ее ушла улыбка, в них замерло влажным блеском, заискрилось осторожное внимание – она глядела на небольшой снимок, размером отличимый от других фотографий, вложенный в твердый пожелтевший лист альбома, где педантичной готической школьной надписью было выведено внизу:

«Кенигсдорф. Вильгельмштрассе, 7, наш дом».

Этот снимок был сделан до войны, время наложило на него тусклую серость, но изображение еще оставалось крепким, четким, и хорошо виден был двухэтажный дом, похожий на все добротные немецкие дома немецких городков, мансарда краснела черепицей в горячих лучах солнца, вблизи – сосны, утренне высвеченные на одной стороне стволов, лужайка перед домом, сочно-зеленая, подстриженная, посреди которой лежал велосипед, возле присела на корточки загорелая девочка-подросток, на ней спортивный костюм, под шапочку убраны короткие желтые волосы. Девочка присела над никелированным рулем, а он металлическими рогами торчал из травы, по-летнему густой, счастливой...

– Вам знаком этот дом, господин Никитин?

Два пальца госпожи Герберт, зажимавшие сигарету, лиловели лаком ногтей, как бы случайно прикрывали лицо этой девочки, показывая Никитину дом, – он, охваченный туманным и жарким беспокойством, словно усилием расталкивая наслоения памяти, внезапно ощутил когда-то сладостное дуновение смолисто-терпкого, прогретого воздуха, облитую полуденным весенним солнцем стену дома, открытое окно, за которым была полутьма прохлады, звук патефона доносился из глубины дома, я в такой же сочной зеленой траве валялся посреди лужайки сверкающий велосипед с изуродованными прикладом спицами.

Да, когда-то был добротный и удобный немецкий дом в Кенигсдорфе, в дачном городке под Берлином, подобный этому дому, окруженный соснами по краю лужайки, только орудия батареи были вкопаны метрах в ста пятидесяти за яблоневым садом с направлением стрельбы на шоссе по берегу озера, и «студебеккеры» стояли незамаскированные под пятнистой тенью сосен. Да, в таком же доме размещался взвод Никитина, заняв четыре или пять комнат, и был во взводе английской марки («хиз мастерз войс») патефон и набор пластинок, взятых еще в Польше, на какой-то разрушенной вилле в лесу близ Варшавы, и чудом сохраненных и доведенных до Германии.

Но было тогда что-то ужасное, преступное и радостное, связанное со звуками патефона из открытого окна, с запахом травы и махорки, солнечным майским утром, и этими освещенными по одной стороне соснами, увиденными неожиданно им, нечто счастливое и нечеловечески жестокое, связанное с его судьбой, которая едва не сломалась, не повернула его жизнь в темноту, отделенную от всех неистовой злобой, любовью и жалостью.

Никитин помнил то ощущение конца войны и начала жизни, и ту свою неистовую одержимость жизнью, ликование молодости, и ту страшную серую стену, плотно замкнувшую его в те солнечные, тихие, зеленые дни за окнами добротного дома под соснами...

– Кто эта девочка? – глухо спросил Никитин и от удушья, от сердцебиения слегка выпрямился, чтобы в грудь больше вобрать воздуха; ему сейчас так нестерпимо захотелось увидеть лицо этой девочки, как если бы лицо ее могло ему многое объяснить, вернуть, напомнить навсегда ушедшее, прекрасное и страшное, расплывшееся, будто во сне.

– Девочка? – Пальцы ее, закрывавшие часть фотографии, заскользили, трепетно побежали по твердому листу альбома, и она вполголоса сказала: – Это я, господин Никитин.

– Вы? Это вы?

– На фотографии мне одиннадцать лет. В том году была одержана победа в Чехословакии, и мне купили велосипед. Отец очень любил и баловал меня после смерти матери...

– Ваш отец был уже в армии?

– Да... Посмотрите, господин Никитин, какой гадкий кенгуренок сидит в траве – руки длинные, плечи острые, весь из углов, фи, можно обрезать!.. Подросток – неудачная пора девочки с манерами мальчика...

Нет, то было другое, он не помнил ни длинных рук, ни острых плеч, ни задиристого мальчишеского лица этой неуклюжей девочки-подростка, которой он никогда не видел. То, непостижимо связанное с обогретой солнцем лужайкой, соснами и велосипедом в траве, было такое пронзительное, такое мгновенно прошедшее, как давнее короткое потрясение, как горь-

кая радость от чего-то свершившегося тогда, очень важного, главного, но упрятого временем в памяти. И Никитин испугался мучительной жадности медленного узнавания, когда разглядывал дом, лужайку, сосны на фотографии, и вместе с тем он еще попытался зачем-то уверить себя, что это не совсем тот дом, не совсем та лужайка, не совсем те сосны, возвращенные изменчивой игрой ощущений, но уже знал, что, внушая самому себе сомнения, он не мог ошибиться, не мог обмануть свою память, отказаться от нее.

– Вы не помните этот дом, господин Никитин?

– В Германии мы не раз останавливались в таких домах, – сказал Никитин. – К сожалению, нет. Не помню.

Он так спокойно ответил ей, так решительно солгал, что опять почувствовал вцепившееся в горло удушье, недостаток воздуха и от сердцебиения и от ее долгого ошеломленного молчания, а оно, это молчание, физически давило на его плечи, на его грудь, на кожу лица, точно был миг совершенного им предательства, принятого ею, наверно, за ответ вялого равнодушия к тому, что он не держал в сознании или не хотел вспоминать: он имел право все забыть. И она сказала без особого выражения, однако голос ее в конце фразы подрезался до шепота:

– Да, да, господин Никитин, прошло столько лет. А в этом доме прошла моя юность...

Она судорожно затянулась сигаретой, сдула пепел с альбома и стала гасить сигарету, старательно прижимая ее к донышку пепельницы, потупив глаза. А он с вежливым показным вниманием смотрел на фотографию в альбоме, ужасаясь и не веря тому, что подсказывала память, сравнивая вставшее словно из светлого тумана майского утра некрасивое, враждебное и прекрасное, как у мальчишки, лицо девочки, усеянное веснушками юной чистоты вокруг чуточку вздернутого носа, с этой взрослой утонченностью подведенных бровей фрау Герберт, ее маленьким ухом, видимым из-за поднятых, стянутых сзади в пучок, побеленных аккуратной сединой волос, ее золотым медальончиком на груди, ее бледностью висков, на которых нежно проступали жилки... И в лихорадочном сопоставлении не находил ничего общего между той выдуманной воображением или забытой Эммой и этой фрау Герберт; казалось, бессмысленно сравнивал детский сон и близкую реальность.

«Сколько же мы стояли тогда в Кенигсдорфе? – думал Никитин, потрясенно отыскивая в глубинах прошлого ускользающую прочность того весеннего, далекого, почти недействительного. – Мы стояли там недолго, несколько дней, около недели. Так неужели фрау Герберт та самая Эмма? Неужели? Ей тогда было лет восемнадцать. И все, что произошло между мной, сержантом Межениным и командиром батареи Гранатуровым, было из-за нее? Не может быть! Как она меня узнала, если мы оба так изменились? В зеркало бы, в зеркало бы на себя посмотреть сейчас – седые виски, морщины под глазами!.. Как она могла узнать меня? Каким образом она узнала?»

– Господин Никитин... вы меня забыли, прошло столько лет... А я помню, как вы ночью и утром писали на бумаге: «До свиданья, Эмма». До свиданья-я-а...

Этот голос фрау Герберт, сниженный, протянувший по слогам последнее слово, душно ожег его знойной волной, как в то невозможно давнее горячее военное утро под накаленной солнцем крышей мансарды, – ведь тогда перед распахнутым окном он сидел с нею за столом и по буквам выводил русские слова на теплом белом листе бумаги, внизу возле дома уже не было машин, и лишь на лужайке ждал его «студебеккер» четвертого орудия, ждал, работая мотором, оттуда доносились голоса солдат, которые весело кричали им вразнобой: «Эмма, ауф видерзеен! Товарищ лейтенант, ехать пора!»

А потом он целовал ее с какой-то жестокой прощальной нежностью, тормозил ее, стискивал ее в объятиях, еле не плача, зная, что они больше не увидятся, и она, подняв мокрое, безобразно искаженное сдерживаемыми рыданиями веснушчатое лицо, не отпуская его, все повторяла, заикаясь, выученную ею русскую фразу: «Ва-ди-им, мил-ий, не-е з-забыв-ай меня».

Он оторвался от нее, скатился, сбежал по лестнице, и, когда садился в машину, она еще стояла в окне, до он не махнул ей, не повернулся к окну, не взглянул, крикнул сжатым голосом: «Поехали! Марш!»

– Госпожа Герберт... – сказал Никитин и, наклоняясь, не глядя ей в глаза, поцеловал ее ледяную, дрожащую руку. – Мне трудно поверить, Эмма.

Часть вторая. Безумие

1

Что же было тогда?..

Четыре долгих года набирая сумасшедшую скорость, поезд войны ворвался в Германию, как бы вонзаясь раскаленными колесами в каменный тупик огромного поверженного Берлина, торчащего из горячей земли мрачными скалами обгрызанных бомбежками домов с чернеющими глазницами окон, наглухо закрытыми подъездами, где мертво остановились лифты, где на площадках лестниц не пахло из затихших квартир немецкими супами и не слышно было ни шагов, ни стука дверей, ни обыденно приветливых голосов раскланивающихся в подъезде соседей, ни этих вежливых «данке шен», «битте зер» – везде стыла сумеречная тишина пустыни, без единого во всем городе выстрела. Последняя оборона Берлина – рейхсканцелярия и рейхстаг пали. Все было кончено. Несколько дней неистово бушевавшие в городе пожары понемногу стихли, всюду нехотя рассеивались угарные дымки, и, словно из кровавого аспидного месива, постепенно выявлялись площади и улицы, загроможденные угольными телами обгорелых танков, развороченными баррикадами, поваленными на исколотый снарядами брусчатник трамваями, и проступали тенями согнутые фонарные столбы, завалы обугленных кирпичей, еще теплых, еще курившихся. И на опустелых мостовых, перед баррикадами и за баррикадами, на перекрестках и углах центральных улиц, зияющих проломами витрин, под полусорванными пулеметными очередями вывесками магазинов и парикмахерских, возле которых сверкали груды расколотого зеркального стекла, вблизи сожженных машин, бронетранспортеров, исковерканных орудий – везде валялись расплюснутые гусеницами цилиндры немецких противоголозов, смятые каски с темными знаками орлов, зловеще раздавленные велосипеды, переломанные детские коляски, клочки камуфляжных плащ-палаток, серые русские ватники, обрывки грязных бинтов, распростертые плоскими змейками, автомобильные скаты, разбросанные взрывной волной; и кое-где среди обвалившейся на тротуар, остро срезанной чем-то стены можно было видеть в обломках мебели затянутое кирпичной пылью пианино, его помертвецки разъятое, беспомощно ощеренное струнное нутро, а над хаосом разрушения – на верхнем этаже оставалась часть квартиры, часть стены, темнели прямоугольники на обоях от недавно висевших там фотографий, и люстра, чудом уцелевшая, стеклянным пауком покачивалась на паутине провода меж пробоин потолка.

Весь этот огромный зловещий город, сплошь каменный, в течение нескольких дней, содрогаясь смертельными судорогами, оскаливался огнем и будто извивался в дыму, озлобленно скидывал толстые багровые щупальца танковых выстрелов, тонкие плети пулеметных очередей, хлещущих по пролетам улиц, выбрасывал реактивные молнии фаустпатронов из угрюмых квадратных глазниц подвалов – он выл, кипел, конвульсивно корежился, гремел, захлестнутый пожарами, еще втягивая в себя, пожирая, как гигантский молох, последние жертвы, он погибал, но еще выказывал свои девизы, свою неутоленную жадность к человеческой крови подтверждающими знаками на останках собственной плоти – на стенах домов, на мостовых, на заборах: «Berlin bleibt deutsch», «Schlag neun Russen tot», что означало: «Берлин остается немецким», «Убей девять русских».

Лишь 2 мая сникли пожары, но в воздухе висел горячий пар, напитанный удушающими запахами пепла, бетонной пыли, тяжелой горькостью жженных кирпичей с примешанным приторно-сладковатым душком где-то погребенных под развалинами трупов. Вверху обозначенных после буйства огня каменных коридоров, над закопченными улицами свисали зацепившиеся за балконы обрывки простыней, белых тряпок, слабый ветерок шевелил их и шевелил в

черных провалах золу холодеющих пепелищ, бумажный мусор на засыпанных стеклом мостовых, покачивал оборванные электролинии, вытянутые к тротуарам с крыш, закрученные кольцами вокруг разбитых фонарей.

Но так по-весеннему солнечен, мягок был тот майский день, так сияли, круглились в высоком голубом небе облака, такая шла по нему неправдоподобная тишина, такое распротранялось по городу чудовищное безмолвие, что до боли наполнялся, плыл звон в ушах, и казалось, не было нигде в этом поверженном городе ни одного вооруженного солдата, ни обывателя.

Однако это было не так: Берлин, занятый солдатами, танками, орудиями, машинами, повозками, командными пунктами, хозяйственными частями, саперами, связистами, спустя три часа после завершающего выстрела возле забаррикадированных Бранденбургских ворот, в каком-то неожиданном торможении погрузился, как в воду, скошенный ничем не оборимым и оцепеняющим сном.

Это было почти повальное наваждение сна, не подчиненное уже сознанию, которое в неистовстве многожданного облегчения кричало, верило, ликовало, что кончилось последнее сопротивление в Берлине, последняя крепость – рейхстаг пал, и солдаты, бравшие Берлин, будто бы остановились на бегу с разжатым пределом исхода, пьяные возбуждением, свершившимся наконец счастьем, ошеломленные тишиной. Все, пошатываясь, расстегивали пропотевшие воротники гимнастеров, трясущимися от усталости пальцами сворачивали сигарки и тут же со слипающимися глазами, иные, даже не докурив на солнцепеке, валились под колоннами у нагретых ступеней рейхстага, на песчаные дорожки, на каменные плиты молчаливых кирх, на ковры богатых особняков, на постели брошенных квартир, валились, не раздеваясь и не откинув толстых стеганых бюргерских одеял, спали в танках и на снарядных ящиках, сидя на станинах орудий, стоя у котлов кухонь в неловких позах, лежа грудью на столах, на подоконниках, – пружина, сжатая четырьмя годами войны, наконец освобожденно разжалась, и ее крайней точкой окончательного разжатия были не еда, не глоток воды, а сон.

Сон этот, посреди еще местами дымившегося Берлина, продолжался несколько часов, и хотя бесперебойно работала только связь командных пунктов, непрерывно передавая в соседние армии, в Москву весть о прекращении огня в центре «логова», о падении рейхсканцелярии и рейхстага, о самоубийстве Гитлера, никто из через силу бодрствовавших строевых или штабных офицеров не нашел бы в себе человеческой воли поднять сваленных усталостью солдат, отдать приказ прежним командным голосом, никто сейчас не имел на это права.

Облитый теплым майским солнцем с бездонно сияющего неба, затихший Берлин глубоко спал, и, как в затянувшиеся ночные часы, повсюду наглухо закрыты были подъезды, опущены металлические жалюзи баров и уцелевших витрин, но в сумрачно затаенных квартирах чужие испуганные глаза жадно и быстро приникали к щелям ставней, должно быть, веря и не веря в то, что видели на улицах своего старого немецкого города. Ничто уже не напоминало былого масляного блеска и утренней чистоты вымытых мостовых, нигде не было видно на всей скорости скользящих по этому блеску длинных машин генерального штаба, педантично выбритых патрулей, офицеров в плащах с пелеринами; нигде уже не было обычных ежедневных прохожих, приподымающих шляпы при встречах, покупающих в киосках свежие газеты, и молоденький, хорошо причесанный, веселый кельнер в белоснежном переднике уже не нес на подносе кружку холодного янтарного пива, не перебегал деловито улицу от ближнего бара к парикмахерской, где брился какой-нибудь любитель разнеженно отдохнуть в кресле после душистой мыльной пены на щеках, мягкой бритвы, пахучего одеколona, после горячего компресса, приятно распарившего кожу лица.

Прежнего добропорядочного, строгорегимного и размеренного Берлина не было.

Батарея, в которой Никитин командовал взводом, наступала вместе с пехотой восточное Тиргартена по направлению к бункерам рейхсканцелярии, метр за метром продвигалась

по широкой аллее, мимо какого-то глухого забора, – с той стороны сквозь отдаленное гудение танков жарко и часто рассыпалась автоматная пальба, простроченная грубыми очередями пулеметов. И раза два почудилось – донесся оттуда дикий утробный рев (так не мог кричать человек), и вездесущий подносчик снарядов Ушатиков, белобровый, длинношей парень, по причине наивности не перестававший всему удивляться, подбежал к Никитину и, испуганно вытаращив голубиные глаза, сообщил, что в проломе забора вроде видны под деревьями клетки со зверями, и, кажись, слон на горке с поднятым хоботом ходит, а также наши, похоже, без выстрелов по дорожкам продвигаются, но по ним фаустники и автоматчики спереди лупят, и тридцатьчетверка перед мостиком горит.

Никитин по разговорам знал, что левее их дивизии введены в бой танки генерала Катукова, и в тот момент, когда Ушатиков сообщил о появлении тридцатьчетверок в зоопарке, почувствовал вдруг свои орудия вблизи бункеров и подумал только:

«Рядом».

Двое суток через проломы в домах, по навалам кирпича и щебня в бывших квартирах, через обваленные балки перекрытий батарея на руках подтягивала орудия до района Цоо. Северо-западные подходы к зоопарку простреливались днем и ночью мощными точками обороны на углах забаррикадированных улиц – проскочить на машинах было невозможно. А когда наконец выкатили первые орудия на влажную прошлогоднюю листву огромного парка, еще сырого, сквозистого, пахнущего осенней прелью, но уже молодо и нежно зеленеющего листочками, когда открыли огонь по ближним самоходкам, стоявшим полудугой за кустами, всю батарею охватило неудержимое, сумасшедшее неистовство.

Самоходки, медленно пятась, отходили в чащу по каким-то знакомым им дорогам, вновь выползали на перекрестки аллей, пехота впереди залегала и подымалась, рассачивалась меж деревьев, автоматные очереди, беглые раскаты орудий срывали с сотрясаемых ветвей молодую листву, и дым выстрелов самоходов и выстрелов батарей, поспешно мелькающие в нем кометы разрывов сплошь скрыли черно-лиловой наволочью небо над парком, и потерялся отсчет времени – утро было, день или сумерки, – и появлялась отчаянная мысль, что потонувший в непробиваемой мгле этот парк не в центре Берлина, а отъединен от всего мира, что впереди нет нашей пехоты, нет никакого продвижения, нет ничего, кроме огня, грохота, лязга и дыма... Изредка уловимое гудение танков за бетонной оградой, дикий животный рев оттуда, и оскалы пламени в тьме аллей, и жирно дымившие на перекрестках троп самоходки, и упругое дрожание земли, вздохи, сопение, завывание тяжелых снарядов на разных воздушных этажах зачерненного поднебесья, и бесконечные молотообразные удары разрывов в близком городе, недалекие строчки очередей – все это смешалось, задержалось, не изменяясь, на одном месте, там, где должна была быть не достигаемая орудиями оборона немцев и где ее не было.

Но вечером около орудий возникли неожиданно люди, двое мальчишек-связистов из пехоты. Они с треском катушек, с живой переключкой, будто и немцев нигде не было, протягивали в потемках неизвестно куда линию; пробегая мимо расчетов, закричали что-то озорное, грубое, подначивающее артиллеристов, разглядев не лица, а черные, в пороховой саже маски вместо лиц, и, несдержанно хохоча, сообщили, как выстрелили: «Наши в бункерах, во дворе одни мертвые фрицы! Хана там им полная! Оттуда на КП связь тянем! А Гитлера, усатого черта, не нашли там!»

И молниеносно пропали в темноте, прокладывая тонкий провод по ветвям деревьев, а Никитин, до тошнотного предела изнеможенный нескончаемым боем, вчерашним выкатыванием орудий через проломы в домах, увидев связистов, как-то потерял сразу азартно подгоняющее желание посмотреть ненавистную и долгожданную полосу сопротивления немцев, уже захваченную пехотинцами.

– Спать, – еле ворочая языком, безголосо выговорил он. – Кто хочет, принести воды, умыться и спать. До приказа.

Он так и не увидел эти бункера рейхсканцелярии. На рассвете, по холодку, его разбудили шум мотора, голоса – и он тревожно вскинулся на разостланных под орудием ветвях, отбросил шинель с головы. Рядом стоял часовой, наводчик третьего орудия Таткин, продрогший на ветерке парковой сырости, и зябко улыбался двойными заячьими губами в пшеничные усы, опущенные, вероятно, для того, чтобы скрывать этот дефект.

– Что? – крикнул Никитин.

– Командир батареи прибыл, – ответил Таткин, покашливая и согреваясь нелепым приплясыванием. – Гранатуров-то наш... Да еще кухню приволок на автомобиле.

Вокруг было необычно тихо и светло. Нигде не раздавалось ни одного выстрела. Взвод спал между станинами на брезенте, прикрывшись шинелями. А посередине аллеи, неподалеку за орудиями, поблескивал новенький трофейный «опель» с прицепленной кухней, уютный дымок струился под деревьями, и старшина батареи, быкообразный, неповоротливый, напряженная багровую шею, отвинчивал при помощи повара крышку котла, видимо, очень горячую – оба то и дело отдергивали руки, мотали пальцами. И, похрустывая влажными листьями на газоне, от «опеля» крупными шагами шел командир батареи, старший лейтенант Гранатуров, поправляя мощными плечами накинутаю длиннополую шинель, а из-под полы высовывалась перебинтованная кисть на марлевой перевязи. Матовое его лицо, заметное щегольскими косыми бачками и крючковатым носом с крутым вырезом ноздрей, всегда как бы готовое разозлиться, было сейчас оживлено. Он крикнул грубовато-весело:

– Никитин, жив? Штаб обороны Берлина взяли, а вы как на перинах дрыхнете, сундуки-лошади! Ну и батарея у меня! Подъе-ем! Всем жрать! Старшина, раздай трофейный шнапс для бодрости духа да так накорми, чтоб животы трещали! Ясно? Небось думал, Никитин, руку мне царапнуло, так я в госпиталь лягу? Ни хрена подобного! Перевязку сделали, укольчик в задницу всадили от столбняка на всякий случай, а потом в один дом на ночь спикировал и вот, как видишь, на «опеле» прикатил с кухонным прицепом, ха-ха! А по дороге в зоопарк и на КП полка закатил! У тебя, сразу вижу, связи с ним нет! Дьяволы-лошади, без меня-то вздохнули, видать! Где Княжко?

Гранатуров два дня назад был ранен на прямой наводке при обстреле занятой немцами станции метро на берегу Шпрее, оттуда был отправлен в медсанбат, и лейтенант Княжко, командир первого взвода, остался за него. Никитин, окончательно разбуженный рокошущим голосом комбата, хотел было доложить о продвижении взвода через проломы в домах к Тиргартену, о вчерашнем бое с самоходками, о том, что лейтенант Княжко, командуя своими двумя орудиями, находится справа на соседней аллее. Но Гранатуров слушать не стал. Он отсек его доклад взмахом здоровой руки и, глядя на зашевелившихся между станинами солдат, не отвел, а толкнул Никитина в сторону от орудий, сказал вполголоса, что – без бинокля видно – Берлину крышка, и, по слухам в штабе, дивизию, надо полагать, будут выводить куда-то из города, поэтому на всякий случай приготовиться к маршу. И, сказав это, зашагал к солдатам, а они, донельзя вымотанные вчерашним боем, не отдохнувшие, спросонок крякая, сплевывая, покашливаясь, закуривали щедро раздаваемые старшиной немецкие сигаретки, глазели на трофейный «опель», на прицепленную к нему кухню, и уже кое-кто, взбадриваясь, начал позванивать котелками.

– Ну что, что, ребята, возитесь, как жуки навозные? – крикнул Гранатуров. – Небось по самоходкам стрелять – это вам не среди львов атаковать! Не ясно? – Он превесело выругался. – По дороге мы тут со старшиной в зоопарк завернули! Львы, стервецы, досейчас по дорожкам расхаживают, волки вокруг слона стаей бегают, а бегемот в бассейне лежит с миной в животе. Вот где хлебнули славяне! Самоходки – не в счет, ерундовина! Так или нет?

Слова Гранатурова о выводе дивизии подтвердились. В полдень второго мая был получен приказ – артполку сняться и двигаться по шоссе Берлин – Кенигсдорф. Никто в батарее не знал причины спешной перегруппировки, и, поговаривая об отдыхе, ехали по улицам Берлина

в странной опустившейся на землю тишине, такой пронзительно-огромной, такой невероятной посреди голубого неба, обглоданных домов, дыма и развалин, что казалось, оглохли все.

«Их вайс ниht, вас золь эс бедойтен, дас их зо трауриг бин... Ди люфт ист кюль, унд эс дункельт...» Черт, а как же дальше? Забыл. Кто это написал – Гете или Гейне? Лорелея, какая-то сказка о Лорелее!.. Кажется, с распущенными волосами сидела на скале, на берегу Рейна, а вокруг была потрясающая тишина, и струились волны. А она зачем-то пела, и, по-моему, что-то грустное. Да, да, что-то такое грустное. Так кто же написал, в конце концов, – Гете или Гейне? Все забыл, вот молодец! В каком это учили классе? В восьмом или в девятом? Ах, какой умница, какой молодец, какой знаток немецкого языка! «Хенде хох», «ниht шиссен», «шнеллер», «шайзе». Ну, это я знаю, и весь мат немецкий знаю! Прекрасно, герр лейтенант! Итак, как же спросить, положим: вы читали сказку о Лорелее? Или, например, сколько стоит кружка пива?

Никитин, нежась в постели под пуховой периной, листал разговорник, дурашливо разговаривал с самим собой и наслаждался прохладой, утренним покоем, розовеющими бликами на потолке немецкой уютненькой мансарды, где он спал один, отдаваясь часами благодному после сна ничегонеделанию. Целые сутки ему не нужно было беспокоиться о чем-то, отдавать необходимые распоряжения, лично проверять посты ночью, что нужно было обязательно делать на передовой, ожидать требовательного телефонного звонка, внезапного приказа, вызова к командиру батареи перед наступлением или перед маршем. Целые сутки стояли в маленьком городе Кенигсдорфе, километрах в пятидесяти от Берлина, отведенные на отдых, в сторону от главных событий, где-то еще происходивших, и дачный, чистенький городок этот, красно и весело сиявший черепичными кровлями, острием каменной кирпичи, весь солнечный, провинциальный, весь в белой пелене зацветающих яблоневых садов и ранней, густой, снежно-белой сирени, нависавшей из-за оград над тротуарами, был совсем не тронут войной, не задет ни одним снарядом, ни одним выстрелом. Война прошла мимо него чуть слышимой в отдалении канонадой, дребезжанием стекол, низким ревом советских штурмовиков, лишь дважды прошедших над крышами во время боев в Берлине, как узнал потом Никитин. Но все же, когда артполк вечером входил в городок, угрожающе нарушая сон его соединенным гулом «студебеккеров», улочки были безлюдны, ни единого огонька не зажигалось в зашторенных окнах, и пятнами светлели на балконах траурно спущенные простыни.

Старший лейтенант Гранатуров отдал приказ занять огневые по юго-западной окраине, и Никитин разместил свой взвод в совершенно пустом доме; орудия были вкопаны на открытой позиции, в ста пятидесяти метрах за оградой яблоневого сада, за которым, как огромная вытянутая чаша, обводило окраину городка большое озеро, и был виден за озером темнеющий лес, полоска шоссе из леса, прорезанная меж весенних лугов (направление стрельбы), – там, в лесу, по сведениям Гранатурова, еще ночами «втихаря» шастали фанатичные «вервольфы», остатки разбитых на подступах к Берлину фашистских частей.

Но чувство привычной опасности на передовой, заставляющее спать с оружием на расстоянии протянутой руки, вскакивать при малейшем шорохе даже в состоянии мертвящего затишья, – это металлически острое чувство опасности исчезло по первому утру, смытое реденьким парным майским дождичком, текучей по яблоневым садам деревенской тишиной, солнечным, как радость, теплом на буйно-зеленой и сочной после дождичка траве, – и вскоре мирно запахло в городке нагретым камнем, тонко-сладким ароматом сирени.

Целые сутки, каких, пожалуй, за всю войну не было, солдаты отмывались, очищались, отстирывались, отглаживались, отъедались, разместившись в невообразимой домашней благоустроенности, под добротными немецкими крышами, где поражали аккуратностью чистые кухни, уставленные по полочкам разнокалиберными кастрюльками и баночками, где вконец удивляли отделанные разноцветным кафелем ванны с туалетом, роскошными зеркалами и пушистыми ковриками на полу, где в спальнях были невиданно широкие постели, толстые

перины, мягкие подушки – все представлялось фантастическим, начавшимся вчера праздником, и не верилось, что в нескольких десятках километров отсюда могли быть угрюмые развалины Берлина, пьяный угар горелого камня.

Из штаба полка, из дивизиона не поступало никаких приказов, и, кроме утренней и вечерней поверки, назначений в караул, батарея ничем военным не занималась, жизнь пошла вольно: спокойный завтрак, осмотр орудий, обед, длительный ужин, запиваемый бутылочным «биром», отбой, разговоры о перепуганных фрау вместе с бесконечным курением пресноватых немецких сигарет, смехом, солеными шуточками, подначиванием разговеться немочками, которые кое-кому улыбаться из окон начали, шумная игра до полуночи в карты на трофейные зажигалки, кортики и пистолеты – и детски безмятежный сон до утра. Война, Берлин, сопротивление эсэсовских частей в Австрийских Альпах, наступление нашей армии в Чехословакии – этот фронтовой мир вроде бы незаметно отделился, отошел на тысячи километров, канул в туманную и далекую нереальность, и осталась только действительность – одурманивающая тишина, запахи весенней свежести, солнценосный воздух, наполненный прозрачной синевой, радостная беззаботность отдыха.

В городке еще были закрыты магазины, парикмахерские, пивные бары, но уже изредка на улицах стали появляться пожилые немцы в черных костюмах, вязаных жилетках; сторожко поглядывали они на орудия, на машины, на повозки; завидев же встречных солдат и офицеров, почтительно приподымали над головами фетровые шляпы, издали приготавливали заискивающие улыбки, бормотали с покорностью: «Гутен таг, герр зольдат!», «Гутен таг, герр офицер!»

Никитин, как и все, пребывал в состоянии раскованной и ленивой беспечности, как и все, почти не думал, что ушедшая куда-то к близкому концу война может нарушить этот судьбой ниспосланный батарее покой, поэтому решил от нечего делать изучать немецкий язык по военному разговорнику, выданному офицерам на границе Германии.

И этим ранним утром он с благим удовольствием валялся на постели, разговаривал вслух, перелистывал разговорник и после крепкого сна, без тревог, без вызовов, овеянный этим счастливым покоем, особенно чувствовал свое отдохнувшее тело, свое физическое здоровье, чистое белье.

– «Их вайе ниht, вас золь эс бедойтен, дас их зо трауриг бин...» Так... переводим: «Я не знаю, что это означает, почему я такой грустный». Вот это я помню, – говорил вслух Никитин, потягиваясь под пуховой периной и оглядывая веселенькую, залитую розоватым солнцем комнатку, оклеенную выцветшими обоями, разрисованными цветочками и листочками, поглядывая на фотографии усатых стариков при котелках и солидных старух в древних кружевных шляпах, на старинный потрескавшийся комод, платяной шкаф, круглое зеркальце в рамке слева от двери, на столик с чернильным прибором и свечой, прикрытой колпачком, на весь этот кем-то по неизвестной причине оставленный уют. – В самом деле, – сказал Никитин, – мне грустно потому, что я не знаю, кто тут жил. Как это будет по-немецки? Кто – вер. Жизнь – лебен. Ну а теперь, герр лейтенант, попробуем сложить фразу!..

Фразу, однако, он не сложил: на первом этаже хлопнула, ударила по тишине дверь, кто-то там вошел со двора, затем внизу рывкнула луженая глотка: «Подъем! Прекращай дрыхнуть, славяне!» – и сейчас же послышались заспанные голоса, побряхтывание, смех сквозь протяжную зевоту, и чей-то тенорок спохватился, воскликнул:

– Ах, братцы, какую я бабенку во сне видел... Стоит она у забора и эдак с прищуром кивает, кивает мне...

– А ты что? Чесался, дурья голова, или действовал? Дальше что было?

– Рас-стройство!.. Всегда во сне как следует не получается, известно – видение одно! – пояснил зубоскалящий тенорок. – Эх, ребя, гладкую бы какую-нибудь на эту перинку, под бочок, неделю бы не жрал, а только бы... Ты откуда прибеж, сержант? Чего загремел? Гулял ночь никак, а людей чуть свет вздымаешь!

И переливистый командный голос сержанта Меженина:

– А ну, бриться, умываться, туалет навести, котелки в зубы – и за завтраком! Медведя давите много! Опухли от сна! Все! Подымайсь! Лейтенанта разбудили?

– Да пусть себе спит, чего ему...

Потом Никитин услышал скрип тяжелых шагов по лестнице, отбросил разговорник, потянул с кресла обмундирование и, быстро надев галифе, отозвался:

– Я встал, Меженин! Входите! Что за спешное дело? Надеюсь, не танковая атака? Нун, битте, херайн! – добавил он по-немецки. – Бит-те!

– Разрешите, товарищ лейтенант?

Вошел командир третьего орудия сержант Меженин, сильный, широкий костью, немного полноватый, в набело выстиранной гимнастерке, хромовые офицерские сапоги и погоны были влажны, как будто только что шел по росе, задевал плечами мокрые кусты. Его лицо с молочным румянцем, густыми ресницами, светлыми и жесткими глазами было бы красивым, если бы не нагловатая полуухмылка, которая что-то отнимала у него слегка попорченными передними зубами. Считали Меженина везучим бабником, неисправимым сердцеедом, повсюду заводившим неизменно удачливые связи, стоило лишь батарее задержаться на день или два под крышами. Он не скрывал этого, носил в нагрудном кармане коллекцию фотокарточек, исписанных трогательными строчками, и, захмелев, порой хвастливо говорил, что коли уж его судьба смертью обманет, то бабы по нему жалостнее жены на всей Украине и Польше поплачут, что-что, а вспоминать сержанта Меженина будут. Но был он и везучим командиром орудия – пришел во взвод в дни форсирования Днепра, ранен не был ни разу, и награды нетрудно находили его, не затериваясь в долгих госпитальных поисках.

Меженин, загадочно щурясь, небрежно бросил руку к виску, усмехнулся:

– Гутен морген, товарищ лейтенант, одно дело к вам есть. Посоветоваться не мешало бы. А?

Никитин посмотрел на сырые сапоги, на потемневшие в росной влаге погоны командира орудия и удивленно спросил:

– Вы что... не спали со взводом? Где вы были, сержант?

– У фашисточек не был. Хотя они, стервочки, сами лезут, – заговорил с дерзкой твердостью Меженин, нисколько не оправдываясь, а только уточняя дело. – Идешь по улице, а они из окон пальцами показывают и жесты всякие...

– И что же? Где вы были ночью?

Никитин взял с кресла ремень, приятно гладкий, отполированный, ощутил теплый кожаный запах и, наслаждаясь прежним чувством здоровья, молодости хорошо выспавшегося человека, затянул ремень на талии. Затем подвинул к боку тоже теплую кобуру пистолета, подошел к зеркалу и стал причесываться, сделав строгое лицо. Ему не хотелось сейчас выговаривать Меженину за явное его отсутствие во взводе без разрешения, портить настроение бодрого весеннего утра, и это была наигранная строгость, чтобы чем-то напомнить о пока никем не отмененной еще дисциплине, несмотря на отдых и бесприказное положение батареи.

Меженин был старше его на девять лет, опытнее, гораздо сильнее физически, обладал умением подавлять подчиненных ему солдат вспышками грубой насмешки, и подчас – один на один с командиром орудия – Никитин испытывал неудобство и раздражение от его выпирающей, незастенчивой силы.

– И что же? – повторил Никитин, кончив причесываться, и увидел в зеркале наведенный ему в затылок светлый независимый взгляд сержанта. – Что хотите ответить, Меженин?

– А я вот хочу спросить... Вы, товарищ лейтенант, в грошах немецких и в часиках кумекаете что-нибудь?

– Неясно, – Никитин дунул на расческу. – Вы о чем?

– Айн момент, товарищ лейтенант.

Меженин вышел за дверь и тотчас внес с площадки лестницы и опустил на пол брезентовый мешок, не до конца застегнутый металлической «молнией», лиловые остатки раскрошенной сургучной печати висели на суровых нитках в той части сломанной наполовину «молнии», где недавно, видимо, был сорван опечатанный замочек. Меженин присел к мешку и, снизу безгрешно глянув на нахмуренного Никитина, узловатой рукой, на которой виднелась старая синяя наколка «Шура», дернул «молнию». Из раздвинутого мешка вынул несколько толстых, склеенных желтой полоской пачек купюр, положил их на кресло, после чего достал маленькую изящную коробочку, в каких ювелиры продают серьги и кольца, вытянул оттуда на узком ремешочке серебристые часики.

– Гляньте, товарищ лейтенант, штамповка или не штамповка? – сказал Меженин, невинно прикрывая ресницами глаза. – Вы по-немецки малость петрите, тут на циферблатике какая-то фиговина по-ихнему написана. По футляру если... штамповка не должна быть.

– Где вы это взяли? Откуда?

Меженин невозмутимо помотал часами на ремешочке, подышал на фосфорический циферблат, протер стекло пальцем.

– Виноватую голову меч не сечет, товарищ лейтенант.

– Не виноватую, а повинную, – поправил Никитин. – Виноватую как раз сечет. Ну, так где же взяли?

– Законно все, безо всякого Якова, – снисходительно проговорил Меженин и выпрямился. – На ночь, было дело, оторвался я в полевой госпиталь к знакомым сестричкам, у одной там день рождения, законная, кажись, причина. А расположились они в Фейн или... Штейн... дорфе, хрен его знает... не выговоришь, в деревушке, в общем, километров шесть отсюда. Возвращаюсь, значит, на рассвете через лес, глядь – справа, за кустами, чернеет что-то, похоже – машина, по виду штабная, разбитая вдрызг. Миной разворотило ее и изуродовало, как бог черепаху. Посмотреть надо бы, думаю, ради такого интересного случая. Подхожу – а в машине барахло всякое и еще ящичек и мешок. Чистенькие. Очень уж любопытно стало, и вскрыл я их. А в ящичке – часы, в мешке – пачки грошей. Для удобства двадцать штук часиков в мешок, а остальные там оставил, ящик в кустах замаскировал, чтоб не соблазняло кого. Вот так было дело, товарищ лейтенант. Интересуюсь, что за часики – ценные или дерьмо?

– А документы? Там были документы? – спросил Никитин. – Не взяли?

– На кой они вам – для музея, что ли? Война сегодня или завтра кончается. А вы документику спрашиваете. Ценность-то какая? Дешевле чиха.

Внизу, на первом этаже, все громче, все отчетливее разносились звучные голоса солдат, гремели котелки – оживленная, без серьезных забот, но предприимчивая перед завтраком суэта, перед общим сбором взвода за столом, общими разговорами перед дозволенным пивом, сполна отпущенным старшиной из трофейных берлинских запасов.

– Все, знаете, я вижу, сержант. Что война кончается, ясно. А кто вам сообщил, что именно завтра кончится? Сам господь бог?

– Ноздрей чую, товарищ лейтенант. Для нас тут – все, шабаш, стрелять мы кончили.

– Хотел бы. Но ваше чутье, сержант, еще не аргумент.

Он по обыкновению уже говорил с Межениным чрезмерно официально, и это опять была выработанная норма защиты в общении со своим командиром орудия. Его нагло-самонадеянная усмешка сомкнутыми губами, его с холодной пустинкой глаза постоянно выражали, мнилось, полускрытое презрение к Никитину, этому москвичу-лейтенанту, интеллигентному чисторучке, оторванному от мамы и папы, от сладких барбарисок, от задачек в школе, тогда как сам Меженин за тридцать прожитых лет хлебнул разного опыта через край.

– Посмотрим, какую ценность вы обнаружили, сержант.

Никитин взял новую тугую пачку купюр, увидел под черной печатью изображение орла, «Deutsche Reichsbank 5000» и швырнул пачку в раскрытый мешок, точно камень, не представ-

ляющий никакого интереса; потом осмотрел часики, протянутые Межениным, и, за кончик ремешка опуская их в подставленную ладонь сержанта, сказал с брезгливым безразличием:

– Ерунда, Меженин. Рейхсмарки ни к чему, можно в печку. Часы – не швейцарские. Пасхальные подарки немецким солдатам. Поняли?

– Яснить, – насмешливо смежил женские ресницы Меженин. – А может, товарищ лейтенант, рейхсмарки-то к чему? А? Миллион грошей... А?

– Возьмите мешок и идите к взводу, – сказал Никитин, прерывая разговор, и досадливо пощупал белесую щетинку на подбородке. – Думал, у вас дело, а оказалось – пустое. Скажите Ушатикову, пусть принесет горячей воды. Побреюсь и приду завтракать.

– Яснить. – Меженин надвинул на бровь пилотку, взвалил мешок на скошенное полноватое плечо, вышел, застучал сапогами по лестнице, внизу скомандовал зверским голосом: – Ушатиков! Горячей воды лейтенанту для туалета! И... – он срезал повелительную интонацию, добавил что-то не вполне расслышанное сверху Никитиным.

На первом этаже фугасным разрывом, сотрясающим стены, грохнул смех, охотно заржали крепкими глотками на ответное чье-то словцо, но в солдатском хохоте, фыркание не было недружелюбия или злобы по отношению к Никитину, он знал это. Весь взвод, выпавшийся, хорошо отдохнувший в тепле и домашней благодати, был расположен к любой шутке, к любой остроте, подхватывая ее общим гоготом здорового веселья, то и дело вспыхивающего игривым огоньком.

«А Меженин недобр ко мне», – подумал Никитин, раскладывая на подоконнике никелированную безопасную бритву, пушистый помазок, складной стаканчик-мыльницу и коробочку острейших золингеновских лезвий – целый набор, предназначенный, по-видимому, в 1943 году быть рождественским подарком для какого-то немецкого офицера вместе с набором датских консервов, изюмом, французским шоколадом и игрушечной картонной елочкой, упакованными в пакетах, которые были взяты в качестве трофеев на одном из товарных эшелонов под Житомиром.

– Что там у вас за смех? – спросил Никитин, когда самый молоденький из взвода, Ушатиков, радостно сияя до ушей, принес и поставил на стул котелок кипятка и тут же неудержимо залился тоненьким смехом.

– Да разве их поймешь, товарищ лейтенант, – заговорил он, прыскавая в ладонь, – слово какое скажут и ржут. – И Ушатиков по-бабьи хлопнул длинными руками по бедрам, излучая восторг и удивление. – Хохотуны, смешинка всем в рот попала!

– Остроты знакомы. Идите завтракать, – сказал Никитин, слыша взрывы хохота внизу, и внезапно улыбнулся, зараженный смехом солдат.

Солнце стояло над крышами, не по-раннему жарко припекало подоконник, плечо Никитину, а он с замедленным удовольствием не обремененного заботами человека брился перед зеркалом, чувствуя в раскрытое окно дуновение смолистого теплого воздуха от сосен, и этот аромат трофейного душистого мыла, вскипавшего нежной пеной под щекотными движениями помазка на щеках, и неторопливое прикосновение бритвы, после которой и без того чистая кожа становилась свежей, гладкой, молодой. Бреясь, он всматривался в свое лицо, в блеск выпавшихся глаз и праздно и весело думал, не отпустить ли ему тонкие усики, какие щегольски начали носить еще на Одере пехотные разведчики. Он оставил ради эксперимента до конца бритья светлую, очень реденькую полоску над верхней губой, но усики не придавали его внешности ни солидности, ни безмятежного щегольства; минуту он изучающе ощупывал их, затем сказал вслух: «К черту!» – и решительно отказался оставлять лишнее украшение, что, несомненно, вызвало бы кривую ухмылочку Меженина, его подыдающий возглас: «А лейтенант-то наш усики отпустил! К чему бы это?»

Закончив бритье, он смочил полотенце горячей водой и, разглядывая себя, обновленного, в зеркале, протер лицо, шею, грудь, испытывая бодрое настроение прекрасного весеннего

утра, и от этого парного компресса, от какой-то звонкости в каждом мускуле, и от того, что никуда не нужно торопиться, ничего не надо решать, даже серьезно думать, чего нельзя было и предположить сутки назад в пылающем пожарами Берлине.

– Лейтенант, а лейтенант, завтракать! – сквозь пчелиное гудение послышался крик снизу. – Пиво стынет!

И Никитин, причесанный, застегнутый, провел влажным полотенцем по орденам, освежая эмаль, куда въелась пятнышками пороховая гарь, ощущая упругость тела и физическую чистоту, еще раз осмотрел свое лицо в зеркале и сказал опять вслух:

– Все отлично. И все прекрасно.

Когда же он спускался по винтовой лестнице в столовую, галдевшую голосами, и заскользил локтем по гладким деревянным перилам, его вдруг душным ветерком остановила мысль о том, что все это новое, легкое, бездумное, без близости войны, должно вот-вот оборваться, кончиться, исчезнуть, что он, его взвод в немецком городке живут в неправдоподобном и обманывающем тумане счастья, которое не может долго продолжаться. И вспомнил себя, грязного, потного, черного, с ввалившимися худыми щеками, каким предстало его лицо в том же зеркале позавчера ночью, после того, как, расположив солдат в свободном немецком доме, этом нежданно посланном войной рае, он впервые перешагнул порог занятой им мансарды.

2

В столовой, большой, накуренной, наискось из окон пронизанной столбами солнца, заполненной солдатами его взвода, в толчее и хаосе оживленного говора, смеха, шуточек, общего возбуждения вокруг стола запоздалое появление Никитина сразу было встречено обрадованными возгласами: «А, лейтенант, давай на свое место, все готово!» – и тот укол тревоги на лестнице прошел мгновенно – прошел ненужным напоминанием об опасности, нехстати. И он снова подумал удовлетворенно: «Конечно, не стоит ничего вбивать в голову, пока идет все отлично! Главное – жив мой взвод и жив я! Что же еще нужно?»

Большинство солдат толпились у края стола, шумели позади сержанта Меженина, а он, стоя, коленкой придерживал мешок на стуле, вертел на ремешке вынутые из коробки часики, оглядывал солдат сощуренными глазами и говорил громко:

– Рассудим, братцы – что за это дело можно иметь? Поджаренную свининку, пиво и всякую немецкую жратву. Спрашивается, как такое сделать? Кумекаю – а раз плюнуть! Таткин, слушай сюда! После завтрака тебе сходить к хозяину закрытого магазина, что напротив, и предложить: мол, так и так, не желаете ли часики по обоюдному соглашению насчет обмена, полюбовно, хоть мы вас, сволочей, и придушить должны, а кое-как терпим! Нет возражений, пустить трофеи по этому делу?

– Какое там! Таткин сможет, он – голова в цифрах! Счетоводом в колхозе на счетах чесал небось, как на пианинах! Его б старшиной поставить, у него подсчет снайперский! – захохотали позади Меженина, и там, в толпе, любовно принялись тискать, хлопать по плечам, по шее низенького ростом, рыжего Таткина, всегда обстоятельно-расчетливого, хозяйственного наводчика третьего орудия, который даже пригнулся, закашлялся под напором незлобивого солдатского подзадоривания. – Да если бы Таткин в интендантах ходил, второй раз Берлин брать можно было бы! Таткин у нас ровно генерал без звания, мозгой в разных направлениях ворочает!

– А в мешке никак все часики? – поинтересовался Таткин, польщенный всеобщим признанием своих хозяйственных заслуг, и раздвинул «молнию» мешка проворными руками. – Чего тут? Бумаги вроде шуршат... Это что такое?

– Миллионы, Таткин, в упор гляди, едрена-матрена! – крикнул Меженин. – Законные рейхсмарки, раскумекал, нет? Корову и дом целый можно купить да немочку в придачу, что

пальчиком из окна за сигареты манит, понял? Гляди сюда, Таткин!.. – И, заранее угадывая впечатление, которое он сейчас произведет, Меженин выхватил из мешка и хлестнул по краю стола пухлой пачкой купюр. – В каждой такой по пять тысяч! Понял, отчего козел хвост поднял? Держи эту пачку для разведки, Таткин, да разнюхай в любом магазинчике, берут или нет? А с ними, братцы, жить можно будет!

– Неужто всамделе миллионы? – ахнул Ушатиков и по-птичьи вытянул через плечо Меженина длинную шею, стараясь поближе разглядеть деньги на столе. – Это мы навроде капиталистов? Мешок? Неужто настоящие? – вскрикнул он по обыкновению удивленно и восторженно.

– Выходит, миллионщиком ты стал, малец, раскрывай карманы!

– Да куда столько-то? Че делать-то? Ужаси!..

– С кашей съешь заместо закуски и добавку попросишь! Не растеряешься!..

В заразительном и любвеобильном порыве друг к другу, толкаясь, дурачась, солдаты теперь увесисто захлопали ладонями по плечам, по худенькой спине Ушатикова, успокаивая его этим дружным тисканьем, а он прыснул, залился жеребьячьим смехом, как от щекотки, и тогда старший сержант Зыкин, командир четвертого орудия, человек в серьезных годах, семейный, рассудительный, не умеющий радоваться долго, сплюнул сигарку, дососанную до губ, позвал внушительным голосом:

– Ушатиков!

– Что?

– Это как называется? – спросил Зыкин и показал коричневый обкуренный палец. – Понятие имеешь?

– Известно что, товарищ старший сержант, палец ваш, я не вижу разве? – заморгал Ушатиков с ничем не истребимой обезоруживающей наивностью.

– Врешь, Ушатиков, не палец, а оглобля. Или, скажем, не оглобля, а курица, – сказал Зыкин в сердцах. – Посмотри, малец, лучше. Или без очков не видишь?

– Как так курица? Всамделе смеетесь, товарищ старший сержант?

– Замечание имею. Ты, Ушатиков, из смеха и вопросов состоишь, – проговорил Зыкин. – И какие такие философы, коровьи дети, у вас в Калуге рождаются? «Неужто немцы?», «Неужто танки?» Все твои вопросы наперед знаю. И тут тебе опять, как дубиной по голове, удивление оглоушило: «Неужто настоящие?» А ежели настоящие, ну чего ты с миллионами делать будешь? Живем мы, братцы, как на курорте, и ровно оглупели, как мухи! В голове – карусель.

– Но-но, Зыкин! – прикрикнул Меженин, мерцая глазами, и голос прозвучал властно. – Ты моих орлов не трогай! Если польза от чего есть, с какой стати ушами хлопать? Не заслужили, что ль? Верно, ребята? Ты, Зыкин, у нас – святой, молись за нас! Трофеи по всем статьям взяты. И чин чинарем. Как, Таткин, нормальные гроши? Докладывай, бухгалтерская голова, чтоб все слышали, есть в них какая ценность или я оглупел, как вон Зыкин говорит! Себе в карман миллион не положу, мама так делать не велела!

Он терпкой насмешкой подавил возражение Зыкина, и солдаты, посмеиваясь, одобрительно загудели, подмываемые любопытством, сгрудились за спиной рыженького Таткина, который между тем с деловой предосторожностью отодрал ногтем скрепляющую новенькую пачку купюр банковскую полоску, крикнув, священнодейственно послунив два пальца, вытянул одну бумажку из пачки и, рассматривая против солнца, подозрительно покрутил ее и так и сяк; хитрое усатое личико его выражало важную работу и значительность действия.

– Похоже, не фальшивые, – сказал он. – Рейхсмарка тысячного достоинства. С такими дело не имел. Не знаю таких.

И он, бережно вложив купюру обратно в пачку, ударил пальцами о пальцы, точно пыль счищал.

– Так если ты бухгалтер, счетовод и петришь в финансах, значит – будешь дело иметь! – возвысил голос Меженин. – Соображай, бухгалтерская голова, на полных денежных правах, понял, нет? Мы платим немчишкам, и все – законно!

– Давай, Таткин, давай! – слышались ободряющие голоса. – С паршивой овцы хоть шерсти клок! Они у нас, гады, без денег все брали, а мы как-никак по совести... А часики куда? Значит, мы теперь миллионщики, ха-ха! Ну, сержант, хватистый ты у нас... А завтрак-то, братцы, про кашу и бир забыли! И лейтенант ждет!

«Глупо и непонятно. Зачем им деньги?» – подумал Никитин, молча наблюдая за Таткиным, за распорядительностью Меженина, за солдатами своего взвода, не в меру возбужденными этими деньгами и часиками, – ведь еще сутки назад там, в Берлине, на аллеях Цоо ничто не имело ценности, кроме одного-единственного – жизни.

– Меженин, уберите со стола всю эту ерунду! Пора завтракать, – сказал Никитин в момент краткой тишины и сел на «лейтенантское» место, добавил: – Мешок с трофеями спрячьте-ка под стол, а то очень много шума. Так что выдал сегодня старшина? Пиво? Раздайте каждому по три бутылки, сержант, вместо ваших трофеев. Так будет лучше.

За завтраком пили пиво, шипевшее пеной из горлышек темных бутылок, наливали его в большие граненые кружки, взятые на кухне, чокались толстым стеклом под шуточные тосты, аппетитно ели кашу, звенели массивными золингенскими ложками по фарфоровым тарелкам, тоже взятым «напрокат» в кухонном буфете, говорили, кричали, перебивая друг друга, вспоминали шестнадцать дней в Берлине, уличные бои и баррикады, как проламывались через квартиры, через стены домов к Тиргартену, – и, отмытые, покрасневшие, радостно хохотали при каждой пришедшей на память детали, а солнце яростно ломилось в окна, широко рассекло стол горячими белыми квадратами, пекло спины сквозь гимнастерки, становилось жарко. И в этом нескончаемом завтраке, неумолкающих разговорах, в сигаретном и махорочном дыму, вкусе чужого пива, в шумной тесноте столовой, весенней жаре было какое-то ненасытное, жадное и нетерпеливое пиршество людей, только что удачливо пролезших через игольное ушко, все помнивших и все забывших для того, чтобы жить теперь.

Никитин отхлебывал пиво, смотрел на солдат, знакомых и чем-то незнакомых ему по новым жестам, улыбкам, тону голоса, – и за сутки ощутимая перемена этой окончательно счастливой судьбы теплым наплывом блаженства охватывала его. И сержант Меженин, весь прочный, с расстегнутым воротом гимнастерки, потный, без конца выкрикивающий тосты за «капут войне, за баб, за немчишек, которым всем передохнуть», и наивный круглоглазый Ушатилов со своим удивленным всплеском рук, готовый залиться звонким, серебристым бубенчиком, охотно засмеяться любому посоленному слову, и хитренький Таткин, украдкой составляющий выпитые бутылки под стол, подальше от глаз начальства, и степенный, серьезный командир четвертого орудия Зыкин, глубокомысленно покуривающий гигантской величины махорочные самокрутки, – эти разные и близкие ему люди почему-то сейчас успокаивали его, вливали в душу растроганное и доброе согласие со всем их настоящим и прошлым, и невозможно было представить их другими людьми, усталыми, злыми, закопченными, которыми он командовал, ежедневно отвечая за жизнь каждого и на которых недавно раздражался при виде той глупости с часиками и деньгами. И, сожалея уже, Никитин подумал: «Почему я должен мешать им? Пусть делают что хотят...»

Потом он подумал, что право на раздражение давало ему офицерское звание, хотя, может быть, у него не было права советовать им, принимать решения в житейских вопросах, потому что одно знал лучше их – то, что было огневыми позициями, орудиями, вычислением прицела и стрельбой, одно это, главное, связанное с жизнью каждого из взвода, держало и укрепляло уважение к нему, как если бы он был опытнее всех в понимании самого важного на войне, независимо от возраста.

Он командовал людьми, но не умел, как это умели многие солдаты, развести костер на ветреном морозе, не мог сварить по неписанным правилам суп на костре, ловко растопить в хате печку, переночевать с женщиной или, накрывшись плащ-палаткой, «проверить» улей на пасеке пустой деревни, выкачав необъяснимым способом полное ведро меда, не мог перед стрельбой согреть спину, кругообразно потираясь о щит орудия, что часто делал в обороне зимой пожилой Зыкин. Однако он научился необходимой грубоватости, командному голосу, офицерскому самолюбию и тем крепким и спасительным в бою словечкам, которые уравнивали его со всеми. Когда говорили о женщинах, он делал снисходительно-знающий вид, ибо если бы Меженин, в особенности после Житомира, понял, что Никитин единственный раз на войне по-настоящему обнимал и целовал женщину, он, вероятно, стал бы открыто презирать его интеллигентскую несус-разность.

Разговоры за столом не умолкали, дым сгущался, волнисто покачивался над красными лицами, перемешивались взбудораженные голоса, будто опять с утра начался и продолжался вчерашний праздник, и Никитин не прерывал затянувшийся завтрак, не уходил из столовой, а приятно погружался в этот веселый гул, ощущая раскаленно пылающее за окном солнце и сияние мельчайших пылинок в его неиссякаемом яром потоке.

– А вот что, други мои, было, когда мы через проломы в Тиргартен шли, – степенно заговорил старший сержант Зыкин, посасывая толстенную самокрутку. – В четвертом, как помню, доме пролез я в дыру, на размер проломленной печки, чтобы, значит, разузнать, как сподручнее орудие, дубину-то нашу протаскивать. Дело к вечеру было. Залезаю в немецкую квартиру, мебель поломанная, темнота, пыль везде толщиной в палец, сквозь щель на потолке маленько светом брезжит. А до этого мы в соседнем подвале трофейных жирных консервов нажрались под завязку, живот крутит, спасу и терпежу никакого нет. Ну как в таком положении орудие через пролом поволокешь, когда без удержу наизнанку выворачивает? И смех и грех. Только пролез я в дыру, ремень – на шею, автомат рядом положил и готов: присел, значит, орлом в углу, задумался, как полагается. Сижу и слышу – в темноте шорох какой-то, похоже – шебаршит что-то, потом кряхтенье началось – вздрогнул я даже и рукой за автомат. Глядь – в другом углу фриц сидит, тоже ремень на шее и тоже сильно задумался, как следует расположился, и вижу – автомат у ног...

– Ах ты боже мой! Неужто фриц? Как так? Живой? – с ужасом изумления воскликнул Ушатиков и хлопнул ладошкой себя по бедру. – И впрямь живой?

– Это ты где, малец, видел, чтоб мертвый фриц с ремнем на шее по своей нужде сидел? – осуждающе глянул на него Зыкин, и вокруг засмеялись. – Дак вот, увидел меня, моментом хватить за автомат, напрягся весь, застонал вроде, а в темноте разобрал я – в немолодых годах он уже. Что делать? Сидим секунды, не дышим и друг дружку из углов страшными глазами убиваем, друг дружку в плен берем. А тут так несет меня, что и никакой войны не надо, свет белый не мил. И в голове мельтешит что-то: думаю, если он первый начнет, тогда и я успею, мол... А он вдруг автомат свой остороженько так положил и все смотрит, смотрит на меня, ровно овца больная. И я тоже свой на землю и тоже дурной овцой смотрю. Потом сделали мы это самое дело, он первый как бешеный вскочил, ремень в зубы, автомат на шею и в пролом – нырь, так задницей и блеснул! Ну, тогда и я встал... Вот такое было.

– Значит, испугался, Зыкин, а? – жестко хохотнул Меженин и ударил кулаком по столу, заглушая смех солдат. – Эх, евангелисты божьи! В церкву вам ходить! Да я б его не очередью, а одной пулей на дерьме срезал! Фрица пожалел?

Зыкин, размышляя, подул на самокрутку, сказал веско:

– Хоть умный ты, сержант, а дурак. В вечном деле все одинаковы. Тоже люди...

– Философ ты с куриных яиц, Зыкин! – ревниво сказал Меженин и бугорками прогнал желваки на скулах. – В этих случаях пусть лошади думают, у них голова большая... А я вот тоже раз в Берлине дуриком испугался, аж волосы дыбом. Возле того метро... Как эта улица назы-

валась? Унтер... день... линден, помните, ребята? Фрицевский пулеметчик никому дышать не давал – лупил с балкона очередями по перекрестку. Заметил – второй этаж, взбегаю по лестнице, ага – вот она квартира, звоночки, таблички, ударил плечом, а дверь, гадюка, открыта. В первой комнате – ковры, мебель, никого... Какая-то жратва на столе, бутылки, консервы. А квартира – огромная. И пулемет смолк, тишина мертвая в доме. Держу палец на спусковом крючке, на цыпочках иду по комнатам, последняя дверь закрыта, я – торк ее. И враз за спиной кто-то человеческим голосом: «ку-ку, ку-ку!..» Конец тебе, Меженин, думаю, все! Поворачиваюсь, как зверь, и режу очередями. Вижу – а это кукушка из часов выскакивает: «ку-ку, ку-ку», – а я по ней, по часам, по стенам, по зеркалам. Она выскакивает, а я по ней, по ней, сволочуге, пока вздрызг не раскокошил! Во когда испуг был, Зыкин, а ты мне про поносного фрица вкручиваешь с философией от куриного нашествия! Хреновина! В рай ты мечтаешь попасть, Зыкин, вот твой угол зрения, тебе свечки по убитым фрицам ставить нужно! А в аду все равно встретимся – сколько ты немцев из своего орудия ухлопал? А?

– Напрасно часы и зеркала ты порушил, – рассудительно заметил Зыкин и начал слепливать новую сигарку. – В тебе черт сидит, Меженин, и хвостом вертит.

– Насчет хвоста – это верно! – Меженин, жмурясь, как кот, потянулся с хрустом сильным, добротным телом. – Эту работу я уважаю! Эх, братцы, а до войны не то было. Работагой меня считали ударным. Бывало, придешь домой, головой ткнешься в подушку – мертвец! Жена с претензиями, конечно: «Нервы у тебя, значит, Петенька, очень здоровые». – «Здоровые? – говорю. – Да я свои нервы давно на запчасти для тракторов променял». Какая после этого любовь? Домкратом не подымеешь! А на войне, что ж, здесь свободный разворот есть. Война кончится, братцы, и еще вспомним вольную жизнь!..

– Я и говорю, черт тебя изнутри ест, – повторил Зыкин.

– Всего не сожрет, что-нибудь да останется!

Меженин, как всегда, подавил Зыкина, всецело завладел общим вниманием взвода и, сладко дотягиваясь, щурясь на майском солнце, поглаживал крутую, завешенную орденами грудь – во всем удачливый красавец парень, которому прощалось много за бездумную удаль, за разговорчивость, за необычную в бою везучесть, точно заговоренный он был, и точно вместе с ним заговорен был его оружейный расчет, не понесший от границ Белоруссии ни одной потери. В бою с ним свободно и надежно было и было спокойно в любых обстоятельствах на передовой, он, чудилось, жил на войне, не задумываясь, прочно, уверенный в неизменчивое везение свое, и, не раз обласканный судьбой, знал собственную цену в батарее.

– Вон поглядите, ребята, бухгалтер Таткин у нас топор мужичок, а? – продолжал Меженин и, веселя солдат, подмигнул в сторону Таткина. – Молчит, как два умных. Тихий, цифры на уме, а ходок, видать, был – не приведи господь! Идет с работы, увидит какую-нибудь с толстыми ножками, счеты в кусты и давай вокруг петушком круги делать. Рыжие, они бесовитые, опасные для девок, как дьяволы! Так, Таткин? Правильно говорю?

– Славяне, гляньте-ка! – крикнул кто-то, захохотав. – А Таткин три тарелки каши упер и полбуханки шорстнул, во-о аппетит!

Маленький, тщедушный Таткин обладал на удивление неповторимым аппетитом, мог есть сколько угодно и когда угодно, порой грыз припасенные сухарики даже ночью на посту, похрустывая в темноте голодной мышью, и сейчас, застигнутый вниманием, не перестал жевать, острое его лисье личико было углубленным, серьезным.

– Соображаю я, товарищ сержант. – Он повел рыжими бровками на Меженина. – Об деньгах этих. Может, после завтрака и на разведку какого магазина идти?

– А ты, сообразительная голова, немецкий язык знаешь? Как говорить будешь – руками или глазами? – спросил Зыкин.

– Такое и без слов завсегда понятно. Деньги, они что... сами говорят.

– Таткин, люблю я тебя за расчетливость ума, а ты лучше скажи откровенно – куролесил небось? – не унимался Меженин. – Гастролер ты, видать, и красивый мужчина был! И ростом вышел, и косая сажень в плечах, и на гармонии вальсы наяривал! По всему вижу – ходок ты был неисправимый!

– В ум не приходило, – скромно опустил выгоревшие бровки некрасивый Таткин, и в этой его ангельской кротости было и нежелание и согласие участвовать в собственном розыгрыше, который время от времени падал на него и повторялся во взводе для общего увеселения.

– Врешь, Таткин, большого туману напускаешь! Рассказывай – послушаем, а потом я про Житомир кое-что веселое расскажу, хоть лейтенант чуть под суд меня не отдал! Да, прошлое дело, анекдот получился. Рассказать, товарищ лейтенант, для смеху? Зуб на меня не будете иметь?

То, что Меженин не очень кстати вспомнил о Житомире, о том давнем и неприятном, что случилось там и что Никитин не хотел вспоминать, – было словно бы направлено против него, против его стыдливой неопытности, распознанной тогда Межениным.

– А при чем Житомир, сержант? Все было глупо! – сказал он резко и, сказав, почувствовал, как запыхало лицо под взглядом Меженина, густые женские ресницы его подрагивали в безвинном любопытстве.

– Не так, что ли, сказал, лейтенант? Я плохого не помню, а речь о бабах шла, – проговорил он. – А бабы на войне – тоже подарок или трофеи, так я считаю, ежели не вру...

– А я как раз о трофеях, – перебил Никитин, сердясь на звук своего голоса, на то, что придал какое-то значение словам Меженина о Житомире. – Именно насчет трофейных денег, – проговорил он совсем не то, что надо было сказать. – Зыкин прав: зачем они? Пришли в Германию, чтобы превратиться в торговцев? Часы – это другое. Раздайте их всем, Меженин, у кого нет. Хоть на посту будут точное время знать. А деньги... Никаких магазинов и никакой торговли. Ну-ка, Таткин, пересчитайте рейхсмарки. («Зачем я сказал, чтобы пересчитали рейхсмарки?») И лучше так: или сожгите их, Меженин, или сдайте в штаб полка, чтобы никаких глупых соблазнов не было. Не хочу, чтобы взвод оказался в дурацком положении купцов!

Он знал, что этим приказом мог разжечь в Меженине злость, задеть его самолюбие и одновременно мог возбудить недовольство солдат к тому, что он, командир взвода, решил сделать, как бы отнимая у них легкомысленную надежду на сладкую жизнь. Но невольно он отдал распоряжение, и все затихли, осторожно поглядывая на него, на Меженина, и тот, стиснув челюсти, всверлился в лицо Никитина жестко-светлыми глазами, выговорил, снисходительно ухмыляясь:

– Яснить, лейтенант. Сделаю. Как приказано. Наше дело телячье.

И тотчас, загремев стулом, поднялся, весь расправился, красивый зрелой телесной ладностью, подошел к тому месту, где лежал мешок под столом, вытянул его, рванул «молнию», демонстративно-небрежно высыпал на стол перед Таткиным кучу плоских коробочек, разехавшиеся пачки новеньких купюр и скомандовал:

– Кто не обжился часами, разбирай без паники! Таткин, считай гроши! Лейтенанту – право выбрать любые первые!

– Не надо. У меня еще ходят, – ответил Никитин и тут же подумал, что суеверно не заменял свои ручные часы, старенькие, с почерневшим циферблатом от гари и окопной пыли, найденные им в офицерском блиндаже после почти бескровного боя под Гомелем.

В тот момент, когда солдаты, взбодренные командой Меженина, затолкались вблизи стола, охотливо разбирая наугад эти игрушечные на вид коробочки, в столовую вошел лейтенант Княжко, командир первого взвода, крикнул с порога:

– Здравия желаю, второй взвод! Привет, Никитин! Позавтракали? А почему кошку не кормите?

Он был очень молод, этот лейтенант Княжко, и так женственно тонок в талии и так подогнан, подтянут, сжат аккуратной гимнастеркой, крест-накрест перетянутой португеей, и так нежно, по-девичьи зеленоглаз, что каждый раз при появлении его во взводе рождалось ощущение чего-то хрупкого, сверкающего, как узкий лучик на зеленой воде. И хотя это ощущение было обманчивым – нередко мальчишеское лицо Княжко становилось неприступным, гневно-упрямым, – Никитина будто омывало в его присутствии веяние летнего свежего сквознячка, исходящего от голоса, взгляда, от всей его подобранной фигурки. Княжко был из московской профессорской семьи, учился на филологическом факультете, жил на Озерковской набережной, хорошо знал переулки Пятницкой, где жил Никитин; они никогда не встречали друг друга на замоскворецких тротуарах и сблизились только на фронте в конце сорок третьего года. Лейтенант Княжко прибыл, еще хромя, из тылового госпиталя, был назначен в батарею на место убитого командира первого взвода. До этого он служил в пехоте, командовал на Днепре ротой, но в связи с ранением и хромотой был не взят в стрелковую часть, а направлен по личному желанию в дивизионную артиллерию.

– Если нас посетил первый взвод, то, конечно, братский привет! – ответил Никитин, обрадованный приходом Княжко, испытывая странное подспудное чувство какого-то далекого июльского утра в замоскворецких тупичках, с солнцем над заборами и тополиным пухом на мостовой. – Здравствуй, Андрей! А что такое – откуда у тебя кошка?

– Откуда, спрашиваешь? Это уж, второй взвод, недопустимое безобразие, на глазах у вас животное с голоду может умереть, а вы что?

Лейтенант Княжко выглядел по обыкновению педантично опрятным, ни единой складки на гимнастерке, светлые волосы причесаны на косой пробор, гладко-влажны, грудь чуть выпукла, ослепляет полосой орденов, сапожки до безупречной чистоты зеркальны. Необычным было то, что на сгибе руки он, словно фуражку на торжественном построении, держал лохматую дымчатую кошку и гладил ее зажмуренную, грязную морду, тыкавшуюся ему в плечо.

– Сидит, понимаешь, бедная, возле дома сирота сиротой и какую-то траву ест, – заявил Княжко. – Куда смотришь, Никитин? Ушатиков, дайте ей немедленно каши, накормите по-солдатски, а то к себе во взвод возьму!

Он спустил с рук кошку, а она сейчас же легла на спину, показывала сваленную шерстку худого живота, потом разнеженно потерлась спиной о затоптанный сапогами ковер, ленивым движением лап будто приглашая продолжить начатую Княжко игру.

– Боже ж мой, смотри ты, настоящая кошка! – ахнул, засмеялся Ушатиков, только что не без удовольствия наладив на запястье новые часики и мгновенно забыв про них. – Неужто немецкая? Кысанька, кысанька... Гляди, гляди, лапами что выделяет! По-русски она понимает? Как к ней обращаться-то?

– Только на чисто французском, – не улыбнувшись, Княжко щелчками сбил шерстинки на рукаве. – Немецкие кошки, как правило, воспитываются в лучших французских аристократических домах, но при этом не брезгают русской кашей. Вы поняли?

– Да я сурьезно, товарищ лейтенант... Ух, какая животная важная!

Ушатиков, вытаращив ласковые голубиные свои глаза, пощекотал кошке живот, кошка, продолжая играть, тронула, мягко ударила его папой, и он заморгал, сидя на корточках, позвал разомлевшим, умиленным голосом:

– Кысанька, шпрехен, шпрехен, ком, ком, каши тебе дам... хенде хох, гут, гут, гутен морген... Ух, какая зверь солидная!

– Вы ей голову заморочили, – не удерживая смех, сказал Никитин. – Наверное, немецкие кошки понимают один международный язык: кыс, кыс, кыс. Попробуйте. Если не поймет, немецкий разговорник возьмите.

– А верно, товарищ лейтенант, должна соображать, – кыс, кыс, кыс! – умилялся Ушатиков и, пятясь на корточках, поманил кошку. – Сюда, сюда, я тебе и посудину найду. Сюда, сюда, в угол иди, а то невзначай раздавят тебя сапожищами-то...

– Есть что-нибудь новое, Андрей? – спросил Никитин. – Из штаба никаких слухов? Молчат до сих пор?

Лейтенант Княжко счистил прилипшие к гимнастерке шерстинки, вкось поглядел на стол, сплошь заваленный купюрами рейхсмарок, на сосредоточенного Таткина, перекладывающего пачки ровными рядками, на возбужденные лица солдат, которые, окружив Меженина, еще разбирали коробочки с часами, сказал:

– Все по-прежнему. Ни одного приказа. Интересно, где и какой банк вы конфисковали, Никитин? – Он вкладывал в вопрос иронию, но зеленые глаза его оставались серьезными. – В Берлине? Или Кенигсдорфе?

– Просто хорошо живем, товарищ лейтенант! – откликнулся громко Меженин из гущи солдатской толкотни. – Только никто не завидует, хоть все удобства во дворе, телефон в аптеке! Прошу принять подарок, гарантия известная – годик простучат!

– И много у вас подобных ценностей?

– Всем хватит, товарищ лейтенант, вагон и маленькая тележка! Возьмите вот эти плоские, на руке глядеться будут. И стрелка секундная есть.

– Ничего немецкого не беру, – сухо зато ответил Княжко. – Насколько мне известно, Меженин, это предпочитают делать похоронные команды.

– Новенькие, товарищ лейтенант, как из магазина. Не с руки сняты!

– Не имеет значения.

– Ясны-ыть, – протянул Меженин неопределенно. – Дело полюбовное, кому попа, а кому попадью. Наш лейтенант тоже с принципами. Засек!

Сощуриваясь, он завел, послушал часики и, разочарованный, бросил их на стол, они звякнули меж груды коробочек.

– Ну и прекрасно, – Княжко повернулся к Никитину. – Ты позавтракал, вижу? Пройдемся к орудиям. День сегодня отличный. Совсем летний.

– Просто великолепный день, – согласился Никитин и, надевая выстиранную вчера пилотку, предупредил Меженина: – Если из штаба будут звонить, сообщить немедленно.

– Не аристократично, но неплохо придумано, – сказал перед дверью Княжко, кивнув в угол столовой, где усердный Ушатиков на корточках кормил кошку из крышки немецкого котелка, старательно соскребывая с солдатских тарелок остатки пшенной каши.

Был час полного утра, тихие улочки провинциального немецкого городка были по одной стороне горячи, знойны, затоплены солнцем, по другой стороне лежала тень, еще прохладная, еще по-весеннему чуть сыроватая, и здесь, в прохладном воздухе, был особенно густо разлит сладковатый аромат ранней сирени, белой, пышной, отяжеленно свисавшей над железными оградами. И этот текущий по тротуарам дурманый дачный запах уже смешивался с неожиданными для покойных улочек дымками солдатских кухонь, бензиново-пыльным запахом машин, стоявших цепочкой вдоль обочин подсохших мостовых.

Мирный городок этот давно проснулся, ярко краснел черепицей, золотились стволы сосен, раздавались начальственные голоса старшин во дворах, занятых полковыми хозяйствами, гремели поварские черпаки о нутро отмываемых после завтрака котлов, кое-где в глубине окраинных садов отдаленно завывали моторы тыловых машин. На площади возле кирхи и вокруг на улочках появлялись группами солдаты, совсем по теплу, без шинелей, без ватников, ходили посредине мостовых, с интересом разглядывая чужие вывески пансионатов под голландскими фонариками, женские шиньоны в зеркальных витринах парикмахерских, опущенные жалюзи закрытых пивных баров, уютно отдыхая, покуривали, сидели на каменных плитах,

гладких ступенях кирхи, грелись на солнцепеке, переговариваясь, задирали то и дело головы к острой готической высоте ее кровли, купающейся в теплой голубизне неба.

– Веселый городок, – сказал Княжко, чаще, чем Никитин, козыряя встречным солдатам. – Уютно жили. И вообще – прекрасное время, май!

Никитин спросил:

– Но где бургеры, скажи ты мне? В подвалах сидят? Попрыгались все? Или сбежали, как мои хозяева?

Это был, по всей видимости, типичный курортный городок, чистенький, удобный, вымытый, с множеством маленьких магазинчиков, ресторанчиков, баров и пансионатов, куда на лето выезжали, наверное, отдыхать берлинцы, однако сейчас немецкая речь нигде не слышалась тут, и хотя солдаты, заняв дома, жили в квартирах вместе с хозяевами, повсюду на окнах были еще задернуты шторы, и лишь порой края их осторожно шевелились, когда близкий мотор машины или дребезжание кухни, взрыв хохота или звуки солдатского говора возникали, раздавались на улице.

– Думаю, немцы уже перестали надеяться, что мифическая армия Венка спасет Берлин. И все же чего-то ждут в страхе, – ответил Княжко. – По крайней мере, хозяева моего дома перепуганы насмерть, еле дышат, ходят на цыпочках, говорят шепотом «Гитлер капут» и мелким бесом заискивают перед солдатами. И юлят передо мной, как перед генералом. Даже пытаются приносить какую-то жуткую бурду «кафе» в постель. Наверняка убеждены, что переживают нашествие Чингисхана. Но немцы есть немцы. Крафт! Крафт! Преклонение перед силой.

– А мне любопытно, куда смылись хозяева моего дома, – проговорил Никитин. – Все оставлено – и никого.

– Ну, вот тебе представитель арийской расы, легок на помине, – сказал Княжко, морщась. – И, кажется, навеселе.

Навстречу, в узоре тени железной ограды, за которой неудержимо, буйно, снежно цвела сирень, продвигался, непрочно ступая по каменным плитам, пожилой краснолицый немец в черной паре – он приостановился вдруг, издали приподнял шляпу, обнажил малиновую широкую лысину и так, не надевая помятую шляпу, начал кланяться покорно и подобострастно, выговаривая заплетающимся языком:

– Guten Morgen, Herren Offiziere, guten Morgen... Рус карашо, Гитлер капут... аллес... Сталин гут, карашо, Гитлер плехо, капут, – повторял он с какой-то заведенной пьяной нелепостью заученный набор слов, пока Никитин и Княжко не поравнялись с ним, потом красное его лицо заискивающе задрожало крупными своими морщинами. – Entschuldigen sie, bitte, Herren Offiziere, geben sie mir, bitte, ein Stuck Zigarette.¹ Рус карашо сигаретте... Водка гут...

– У тебя есть? – строго спросил Никитина некурящий Княжко. – Дай ему. Где он набрался, этот ариец? По-моему, славяне показали широту души. Наверняка.

– Битте, – Никитин раскрыл пачку трофейных сигарет, и немец, все не надевая шляпу, тихонечко кончиками ногтей вытянул одну, застонал и сладострастно понюхал ее; тогда Никитин сказал: – Возьмите несколько штук... А, черт, как это по-немецки? Bitte, nehmen Sie noch Zigaretten, bitte, bitte!²

– О! Nur zwei Zigaretten, danke schon, danke schon³, – заговорил благодарно немец и так же аккуратненько взял вторую сигарету, рассмотрел пачку и воскликнул с притворным недоумением: – О, «Juno», deutsche Zigaretten! Danke schon, entschuldigen Sie, bitte, Herr Offizier⁴, Гитлер капут! Auf Wiedersehen!.. Рус карашо!

¹ Извините, пожалуйста, господа офицеры, дайте мне, пожалуйста, сигарету.

² Пожалуйста, возьмите еще сигарет, пожалуйста, пожалуйста!

³ О, только две сигареты, большое спасибо, большое спасибо

⁴ О, «Юно», немецкие сигареты! Большое спасибо, извините, пожалуйста, господин офицер

И, держа над потной лысиной шляпу, немец долго стоял возле ограды, оборачивался, провожая Никитина и Княжко улыбкой вставных зубов.

– Рус карашо, водка гут. Вот, оказывается, что, – сказал Княжко, на ходу гибким телом гимнаста подтянулся, сорвал за оградой веточку сирени, вдохнул ее дошедший до Никитина холодноватый росистый запах и тотчас сурово сдвинул атласные брови. – Я вот о чем хотел поговорить, Вадим. Еще неизвестно, зачем нас отвели в Кенигсдорф. Думаю – не так просто. А после Берлина в батарее началась чепуха. Как будто война кончилась, и поголовно обалдели все. Из штаба никаких приказов. Свободного времени полно. Сегодня ночью вышел проверить часового, а его, миленького, на посту нет – оказывается, спит на диване мирным сном младенца и пузыри пускает. Это уже – из ряда вон! Если так – завтра же начну заниматься с батареей усиленной строевой. Хоть чем-нибудь встряхнуть, хоть этим вернуть славян на грешную землю. Иначе превратимся мы тут в умиленных телят.

– Да, – сказал Никитин. – В моем взводе тоже что-то такое ерундовое. Но ты знаешь, я сам не могу отделаться от чувства, что все кончилось...

Они замолчали. По середине мостовой шла группа солдат-саперов, донесся смех, перебористые звуки губной гармошки.

– Твой Меженин, по-моему, занялся одними трофеями, – проговорил Княжко и, переложив веточку сирени из правой руки в левую, ответил на приветствия поравнявшихся солдат, один из них, веселый, хитроглазый, бедово играл «Катюшу» на губной гармошке. – И он давит на всех. Ты это замечаешь?

– Замечаю, но он прекрасный командир орудия.

– Ты либерал – адвокат девятнадцатого века, – сказал Княжко. – Не вижу в этом разумной полезности. Ты командир взвода, и ты должен влиять на солдат, пока не все кончилось...

– Неужели ты думаешь, что еще не скоро кончится?

От закрытого бара на углу под старой вывеской, где был изображен медведь с пенившейся в лапе кружкой пива, они свернули на боковую улочку, всю здесь заставленную машинами артиллерийских тылов, фурами и повозками медсанбата, сплошь заросшую вдоль тротуаров старыми соснами, прошли сквозь их желтую тень, и в конце улочки, будто крыши раздвинулись впереди, обоих ослепила глубинная прозрачность голубого волнистого воздуха над полями, погожего голубого неба с легкими по высоте дымами весенних облаков, засияла солнечная даль молодой травы, разрезанная вытянутым за окраиной городка длинным зеркалом озера в песчаных, как курортные пляжи, берегах, – всюду, до горизонта, стоял теплый майский полдень.

– Я думаю, – сказал задумчиво Княжко, – что мы не простим себе, если окажемся в бессильном положении.

3

В этом отдаленном от передовой тишайшем городке еще соблюдалась светомаскировка, и поздним вечером сидели с наглухо задернутыми шторами в большой комнате первого этажа, напоминавшей не то кабинет, не то библиотеку, с веселым азартом пили баварское пиво, раздобытое старшиной на берлинских складах, нещадно курили безвкусные трофейные сигареты и вели нескончаемые разговоры.

Было тут шумно, по-домашнему непривычно светился над столом стеклянный зеленый абажур керосиновой лампы, плыл в бесконечном течении сигаретного дыма, как в замутненной воде, покачивался фосфорической медузой среди поблескивающих корешков старинных книг в окружении оленьих рогов и темноватых картин, на которых сумрачными скалами возвышались под тучи очертания средневековых замков.

После ужина нежданно пришел сопровождаемый младшим лейтенантом медицинской службы Аксеновой комбат Гранатуров, раненный в руку на западном берегу Шпрее, двадцати-

пятилетний гигант с оглушительным басом. Он громогласно сообщил, что в медсанбате соскучился по дьяволам-огневицам, надоело кушать манные каши, и вот с Галочкой оказалось ему по дороге, стало быть – принимайте гостей, если, конечно, здесь еще считают его комбатом. Тут же из разговора, когда начали вспоминать события дня, Гранатуров узнал о трофейных рейхсмарках, совсем теперь бесполезных бумажках от наложенного Никитиным вето, и, развеселившись, недолго размышляя, посоветовал пустить их в умное депо – раздать для интереса тысяч по десять и перекинуться в двадцать одно, чтобы выяснить, кому все-таки в любви везет, а кому и нет, и, глянув подмигивающе на Галю, на сдержанного лейтенанта Княжко, предложил:

– Прошу вас, Галочка, попытайте счастья, сядьте с нами. Интересно посмотреть, как в этом случае везет женщинам.

– Зачем? Вы хотите лишить меня особенностей слабого пола, Гранатуров? – безразлично сказала Галя, садясь на кожаный диван под книжными полками. – Это вам лично мало что даст.

– Мне лично везет как утопленнику, – вздохнул Меженин, выкладывая на стол из мешка пачки денег. – Хотел бы разок в медсанбатик попасть, товарищ младший лейтенант медицинской службы.

– Разумеется, началось бы невообразимое, за вами ходили бы по пятам с манной кашкой. Бедный медсанбат. – У нее был глубокий грудной голос, переплетенный тугой ниточкой насмешки, и, может быть, если бы не удлинённый нежный овал лица, нежная от вороненых волос и бровей белизна лба, она могла бы показаться не по-женски чересчур резковатой, как бывают нестесненно решительны медсанбатские врачи и сестры в обществе солдат.

– Итак, начнем картежную жизнь! – скомандовал Гранатуров. – Ша, славяне! Ахтунг!

Меженин первый поставил в банк и, пощелкивая, поигрывая, треща чистенькой атласной колодой с двойными портретами Гитлера вместо обычных валетов, начал сдавать карты.

– Книжки, олени рога, старинные гравюры. И даже камин, – проговорила Галя и, пробежав темными глазами по комнате, очень длительно поглядела на Княжко и Никитина. – Чей-то нарушенный русскими уют... Представляю, как они могут нас бояться и ненавидеть. Лейтенант Никитин, вы сами здесь расположили свой взвод?

– Именно, – сказал Никитин. – Пустой дом. Хозяев нет.

– А лейтенант Княжко в соседнем доме? Вы рядом?

– Вероятно, – сухо ответил Княжко. – Вероятно, мой взвод в соседнем доме.

– Огневые взвода располагаются рядом, чтобы вы знали, Галочка! – пророкотал весело Гранатуров, взяв выкинутую Межениным на стол карту. – Еще одну. Так... Еще на счастье. Да, судьба – котелок, жизнь – балалайка, перебор! Вот кому везет во всех смыслах, сержант, так это тебе! Пять сотен враз проиграл! Дьявол ты везучий! Попробуй-ка, везет ли лейтенанту Княжко!

– Не отрицаю, по слухам, мама меня в лапоточках родила. – Меженин, довольный удачливым началом, подправил выросшую кучку денег в банке, снова защелкал картами. – Говорят, раньше эксплуататоры женщин в карты проигрывали и выигрывали. На сколько идете, товарищ лейтенант? Вам без всяких-яких полное очко подкатит – тройка, семерка, туз... Не пойдете втемную? – спросил он Княжко и вскинул ресницы, жестковато-ласковым взглядом обвел Галю, откинувшуюся на диване; суконная юбка цвета хаки стягивала ее сжатые колени, поблескивали сапожки. – Вот ежели бы вы, Галочка, жили в те времена и вас проиграли, чтобы вы сделали, интересуюсь?

– Втемную – нет. – Княжко еще не раскрыл выложенные на скатерть карты, как лицо его будто заострилось от короткого Галиного смеха, от грудного звука ее голоса:

– Остроумно шутите, Меженин! Но отвечаю вам без шуток. Вы средневековый феодал сорок пятого года. Если бы вы меня выиграли, не дай бог, я положила бы под подушку остро наточенный кинжал.

– И, значит, убили бы, не пожалели?

– Не задумалась бы. Ни на секунду.

– Проглоти, сержант, и улыбайся. Ясно? – восхищенно вскричал Гранатуров и здоровой правой рукой выдернул из ножен на ремне трофейный, зеркального блеска кортик, повертел им в воздухе. – Не подарить ли, Галя? На всякий случай!..

– Семнадцать, – бесстрастно сказал Княжко и открыл свои карты. – Что у вас, Меженин?

– Девятнадцать, товарищ лейтенант, – ответил, дунув на карты, Меженин и ухмыльнулся. – Ваша бита! Без всякого шулерства, чин чинарем. Эх, а вот в любви не везет...

– Прочти-ка, Княжко, что за слова на лезвии, – и Гранатуров бросил кортик на пачку рейхсмарок перед Княжко. – Ты один у нас по-немецки стругаешь. Слова – будь здоров! Прочти всем!

– Blut und Ehre, – хмурясь, прочитал Княжко вычеканенные слова на лезвии и перевел:

– Блют – кровь, Эре – честь.

Меженин ловкой перетасовкой опытного игрока выгибал, выравнивал, подготавливая в ладони скользкую атласную колоду, с ухмылкой догадался:

– В общем, кинжалчик удачу означает. Вроде нашего – «Или грудь в крестах, или голова в кустах». Вы – как, товарищ лейтенант? Сыграете на удачу? Втемную?

– Сдавайте карты, – сказал Никитин. – Мне все равно. На весь банк, что ли.

– Философ ты, Меженин, дальше ехать некуда! – Гранатуров щегольским движением вложил кортик в ножны. – Эту штуковину, друзья мои, в Берлине взял, в штабе летной школы гитлерюгенда на Шпрее. Правильно – кровь и честь. Сильно сказано. Оттого и Галочке предлагал. Налить пива, Княжко?

– Нет. Не налить.

– Прости, забыл – ты у нас не пьешь и не куришь. Аскет. Танковая броня. Железобетон!

Он нашел на столе раскупоренную бутылку, черные, жгучие глаза его с вопрошающим интересом окинули Галю с головы до узких хромовых сапожек, сложенных крестиком, спросил, улыбаясь:

– Вам не скучно с нами, Галочка?

Она уже не оказывала никому внимания, как бы отсутствующе сидела в уголке старинного кабинетного дивана, подперев кулачком щеку, другой рукой листала на коленях тяжелую от коленкорового переплета книгу, снежной белизны ее лоб наклонен, темнели строго слитые брови, какое-то новое, задумчивое и сдержанное напряжение было в ее лице.

– Галочка, – нежно зарокотал Гранатуров и гигантским корпусом перегнулся к ней. – Ну чего вы там в книгу хмуритесь? Поговорите с нами, бокал пивка выпейте, и все нормально будет. Если вас тут кто стесняет, так вы ноль внимания – вам все разрешено, вы как-никак, а офицер, Галочка!

Но едва он проговорил это, перекидывая усмешливый взгляд на Княжко, как тот брезгливо поморщился и, суховатый, перетянутый по чуть выпуклой груди португеей, с тщательно зачесанными на косой пробор светлыми волосами, сказал холодным тоном недовольствия:

– Нельзя ли без навязчивости, товарищ старший лейтенант?

– Чего злишься, лейтенант, да неужели я тебя обидел? Иди Галю обидел? – фальшиво изумился Гранатуров. – Вот тебе – и виноват без вины оказался!

– Насколько я понимаю, – продолжал Княжко непроницаемо, – младший лейтенант медицинской службы никому в батарее не подчинена и может поступать, как ей заблагорассудится. И ваши советы по меньшей мере лично мне кажутся смешными.

– Ай, лейтенант! Ай, Княжко, люблю я все-таки тебя, и сам не знаю за что! – нарочито захохотал Гранатуров. – Ей-богу, люблю, мы с тобой когда-нибудь на «ты» перейдем? Или ты выкать хочешь?

Лицо Княжко было по-прежнему бесстрастным.

– Я не могу ответить вам полной взаимностью, товарищ старший лейтенант. Мне удобнее обращаться к старшим по званию соответственно уставу.

«Нет, Княжко не забыл и не простил ему то старое, что было между ними, – подумал Никитин, рискованно набирая втемную четвертую карту. – Нет, он в чем-то непримиримее и решительнее комбата. И это знает Гранатуров и не хочет с ним ссоры в присутствии Гали».

– Конечно, проиграл, черт его дери! – сказал Никитин и положил деньги в кучу купюр на столе. – Вам действительно везет, Меженин.

– В лапотках, в лапотках я родился, товарищ лейтенант, не на городских коврах воспитывался!

– Лапотки – это похвально. Что ж, попробуем еще раз, как без лапотков повезет, – вдруг упрямо проговорил Княжко. – Только учтите – без темной. Сдавайте карту, сержант.

– Вы обратили внимание на библиотеку? – вроде бы некстати спросила Галя, отрывая не улыбающиеся глаза от книги. – Кто, интересно, здесь жил? Куда они убежали? Наверно, сидели за столом по вечерам под этой лампой мужчины в колпаках, женщины в халатах, читали эти старинные книги. Никак не могу представить, что они думали о войне, о Гитлере, о нас, русских... И бросили все – убежали.

– Совершенно пустой дом, – подтвердил Никитин.

– Пустой... – Она обвела взглядом купол запыленного абажура, просвеченного керосиновой лампой, картины в толстых рамах по стенам, кожаные потертые кресла, задернутые на окнах красные бархатные шторы, камин с бронзовыми миниатюрными фигурками нагих женщин, сказала:

– И даже остались древние весталки, покровительницы домашнего очага. Помните, Никитин? Я их запомнила по школе, когда изучали историю Рима. Вам не бывает, Никитин, почему-то грустно в покинутом чужом доме? Грустно и странно.

– А чего грустно? Нормально! – успокоил Меженин и дунул на карту, колдовски щелкнул ею себя по носу. – Вот и вразрез пошло. Тройка!.. Фу-фу, намечается, едрена-матрена!..

– Весталок я плохо помню, – ответил Никитин и, слушая ее медленный глубокий голос, подумал, что она говорила это не ему, не Гранатурову, не Меженину, а лейтенанту Княжко, что она, вероятно, готова была сидеть вот так в одной комнате с ним, если бы даже он в течение всего вечера ни разу не обратился к ней, – или это только вообразилось ему?..

– После войны замуж выйдете, еще такой роскошный уют заведете – закачаешься! – подмигнул Гранатуров. – Хотел бы я к вам тогда заехать, посмотреть на вас.

– Да?

– Не прогнали бы? Одним глазом посмотреть...

– Долго придется ждать. Очень долго, товарищ старший лейтенант.

– Почему долго? У вас и тут, Галочка, поклонников – штабелями. Мизинчиком стоит пошевелить – и к ногам вашим по-пластунски поползут.

Она усмехнулась, рассеянно полистала книгу на коленях.

– Я разборчивая невеста, Гранатуров. Вы никак не можете поверить, что есть и такие ненормальные бабы.

– Ох, Галочка, мужчины тоже под ногами не валяются!

– Я с трудом терплю мужчин. Уж очень они мне надоели за войну.

– Кого же вы любите? Женщин? За женщин замуж не выходят. Запрещено!

– А какое кому дело, кого я люблю и выйду ли я замуж? Боже, как интересно! Вам это очень нужно знать?

– Какая милая пустопорожняя болтовня! – проговорил Княжко, как бы по вялой инерции раскрывая сданные Межениным карты, но губы его властно подсеклись, что бывало заметно в приступе сдерживаемой злости, и он договорил: – Лучше скажите, товарищ комбат, что нового в штабе полка? До медсанбата, по-моему, доходит больше слухов, чем до огневиков.

– Нового? – Гранатуров правой рукой откупорил пивную бутылку, позвенел бокалом о горлышко, чокаясь с бутылкой. – Галочка, за вас! Что нового? Пока полное спокойствие, други мои. Бои на западе. Да еще мелочь и ерунда – какие-то группки разбитых под Берлином частей в лесах кое-где бродят. Как видно, плена, сволочи, побаиваются, а деваться-то фрицам некуда.

– Вот это математический расчет! На два очка обчесали меня! Накатило вам, и вы, выходит, в лапоточках тоже родились? А?

– В тулупе, Меженин, в тулупе, – сухо сказал Княжко. – И, помню, в валенках по коврам ходил.

– Лейтенанту Княжко во всем везет, первый в полку счастливчик! – подхватил, зарокотал Гранатуров, поправляя левую забинтованную кисть на марлевой перевязи, врезавшейся в погон. – Верно, Галочка? Живи он сто лет назад, быть бы ему гусаром. Скатерть белая залита вином... Так поется в песне? И командовал бы он гусарским полком, а не меня замещал.

– Нам пора, товарищ старший лейтенант, – сказала Галя и решительно захлопнула книгу, поставила ее на полку. – Я, как врач, должна напомнить – вы пока на лечебном положении.

– Галочка, золотце! – запротестовал Гранатуров. – В медсанбат? От прекрасного пива к храпунам в палате? Сил моих нет, душу вымотали, перестреляю я их как-нибудь, не выдержу!

– Если нет сил – оставайтесь. Хоть до утра. Сегодня я вам разрешаю. Но у меня дежурство. И пожалуйста... хочу предупредить. Из возраста девочки давно выросла, поэтому прошу – никому не провозжать меня.

– Без сомнения, вам пора, – холодно подтвердил Княжко, не взглянув в ее сторону.

– Да вы что? Одна? Ночью? В немецком городе? – Гранатуров с грохотом отодвинул стул, возвысился над столом огромным своим телом. – Я отменяю свое решение, Галочка! Я готов...

– Нет, – сказал Княжко ледяным тоном. – В городе патрули, и опасаться совершенно нечего, товарищ старший лейтенант.

– Разумеется, – кивнула Галя и засмеялась напряженно тихим неприятным смехом...

Никто в батарее толком не знал о тайных взаимоотношениях командира первого взвода лейтенанта Княжко и медсанбатского врача Аксеновой, никто не видел, где, в каких обстоятельствах и когда встречаются они вне батареи, но все сначала догадывались, а позднее убедились, что знакомство это произошло полгода назад уже на границе Пруссии – десять дней Княжко лечился в тылах артполка после того, как открылось у него пулевое ранение в ногу. Он вернулся, по-видимому, раньше срока, похудевший, замкнутый, ходил, еще сильно прихрамывая, и странно было видеть строгую сухость его и сдерживаемое недовольство, когда изредка возле орудий на марше начавшегося наступления притормаживала санитарная машина, отмеченная красным крестом, и медсанбатский врач, тонкобровая, вся хрупко-узенькая, темноглазая, с воронено-черными на белых щеках волосами, видневшимися из-под маленькой пилотки, не улыбаясь, подходила к орудиям первого взвода, некоторое время шла рядом с Княжко, помогающим себе при ходьбе палочкой. Она серьезно задавала ему какие-то вопросы, имеющие, вероятно, отношение к его раненой ноге, а он едва отвечал ей, неприветливый, вежливо-официальный, и казалось тогда: нетерпеливо ждал одного – чтобы она поскорее уехала. И она задерживалась в батарее ненадолго, а потом Княжко ни словом не вспоминал о ее приезде, хмурясь под любопытствующими взглядами солдат, которые, боясь его спокойного гнева, вслух не говорили ничего. Раз Гранатуров, будучи свидетелем этой дорожной встречи, сказал, ревниво и бурно веселясь, в отсутствие Княжко, что по ясной очевидности лейтенант наш неисправимый девственник или баб боится, а миленькая помощница смерти не по адресу ездит, «понапрасну ножки бьет».

– Так вы сами подбейте к ней клинья, бабочка как полагается, все при ней, товарищ старший лейтенант, – подрагивая ресницами, дал многоопытный совет Меженин. – Грех теряться, когда рядом такой экземпляр ходит! Бог не велит. А добро пропадает.

И случилось так, что под крепостью Шпандау Гранатуров попал в медсанбат артполка по довольно легкой контузии – при обстреле привалило землей на НП. Он появился на батарее спустя неделю, громогласно-шумный, еще более расширившийся на тыловых харчах, привез с собой консервы, три бутылки водки, раздобытые у знакомых армейских разведчиков, сразу же собрал в своем блиндаже офицеров батареи и сержантов, устроил «обмытие возвращения блудного сына на родину», жгуче, с загадочной значительностью поводит чернотой зрачков по лицам офицеров, по лицу непьющего Княжко, и, когда Меженин не без подзадоривания попросил его рассказать насчет «чего такого прочего в медсанбатских тылах», Гранатуров как-то по-шаллому развесело глянул на офицеров и тотчас, притворно скромничая, забасил:

– Неудобно, братцы, не поверите, скажете – травлю...

– А вы за нервы не тяните, товарищ старший лейтенант! – поторопил Меженин. – Сами в тылу бывали! Небось оторвались?

– Ну так вот, братцы, что произошло, – наконец как бы принужденно решился Гранатуров. – Медсанбат в немецком городочке стоял, тыл, аккуратненько, в палатах электричество, тепло, чистые простыни, жратва по режиму, даже трофейное повидло давали и кофе – живем как в сказке, и нет тебе передовой! А контузия у меня – чихнуть дороже, ходячий – просто отдых на курорте. И познакомился я, братцы, в медсанбате с одной женщиной – фигурка, грудки, ножки, задумчивые глазки, скажу вам, как небесный ангел, а по внешности – царица Тамара. Как положено – градусник по утрам: «как вы себя чувствуете», «принести ли вам книжечку почитать», тити-мити, то, се, пятое, десятое, разговоры и всякое прочее. В общем – дело, вижу, закрутилось. Потом пошел я однажды после дежурства, вечером, провожать ее, она у немцев на квартире жила. Пришли. Отдельная комнатка, ковер, шторы, кровать широкая, тишина, немцы-хозяева нигде не шуршат, не слышно их. Все чистенькое, светло и уют. «Сядьте», – говорит. Сел, смотрю на нее, соображаю. А она разом идет к буфету, и тут оказалось, что выпить нашлось, спирт медицинский. Я выпил, а она не пьет, сидит на меня задумчиво смотрит. Ну, думаю, ясна обстановка, и, значит, без всякой подготовки перешел в атаку по всем правилам. Конечно, шепот, слова – «нет, нет, не надо, оставьте меня, уберите прочь руки», – вся побледнела, даже зубки стучат, а сама к кровати меня тянет и пуговки на себе расстегивает... А когда легли и я свет потушил, такое, братцы, началось – тысяча и одна ночь. Декамерон! Не приходилось читать такую книжку, сержант?..

– Быстро очень получилось у вас, товарищ старший лейтенант, – перебивая, усомнился Меженин. – Больно по-книжному выходит. Сопротивляются они долго, а после уж и силу уважают. А у вас – сразу...

– Чушь! Просто заливаете, комбат, – не поверил Никитин, испытывая вдруг болезненное сопротивление. – Признайтесь, сочинили эту историю в медсанбате. От нечего делать.

– Вру? – дико оскалив зубы, спросил Гранатуров. – Значит, вру? Пожалуйста. Вот фото на память подарила!

И, упираясь в безучастного к разговору Княжко азартно полыхнувшим взглядом, вынул из кармана гимнастерки фотокарточку и кинул ее на середину стола.

– Теперь как?

В ту же секунду лейтенант Княжко, мертвенно бледнея, встал резко и гибко, жестко скрипнув в тишине натянутой на груди португеей, и в тот миг, когда правая рука его с неумолимой сумасшедшей быстротой упала на бедро, вырвав «ТТ» из тесной кожи кобуры, и, когда по-слоновьи заорал Гранатуров: «Ты что? Ты что? Спрячь пистолет, говорю! Брось!..», Никитина будто метнула к Княжко инстинктивная сила порхнувшей над головой опасности, металлический запах беды; качнулся стол от суматошного толчка обеих рук Гранатурова, зазвенело разбитое стекло, брызнуло что-то по доскам меж консервных банок, и Никитин четко увидел совершенно белое, отрешенное, мальчишеское лицо Княжко, его меловые губы выговорили отрывисто:

– Если вы, старший лейтенант, не попросите извинения за всю эту гнусность, я вас пристрелю как подлеца!

– Убери пистолет, Андрей, слышишь? Спрячь пистолет, слышишь? – повторял хрипло Никитин и с гневом обернулся к Гранатурову: – Попросите извинения, комбат! Слышите?

– Пошутил я, говорят! Не понял? – крикнул Гранатуров задумчиво. – Шутки не понимаешь?

– Шутки глупца! – выговорил Княжко отчетливо и непримиримо, отстранясь от Никитина, обмякшим жестом вбросил пистолет в хрустнувшую кобуру, зачем-то провел пальцами по волосам и вышел в траншею быстрыми шагами.

Безмолвие стояло в блиндаже. Пожилой сержант Зыкин мрачно насупливался, крутил и не мог скрутить на коленях сигарку; Меженин, не шелохнувшись, ничем не выказав ни удивления, ни страха в момент стычки офицеров, был, казалось, раздосадованно углублен в изучение сивушной лужи, растекающейся по доскам из опрокинутой бутылки, приюхиваясь, заглядывал в раскрытые банки консервов. Гранатуров, сидя на нарах, шумно дышал, вытирал платком забрызганное лицо, и Никитин с неожиданной ненавистью к его косым бачкам, к его бревнообразной шее, свистящему дыханию спросил зло:

– Зачем вы здесь врали, комбат, как сивый мерин? Что вас дернуло ерунду молотить?

– С ума сошел!.. Вот психованный... – выдохнул Гранатуров, глотком проталкивая не то смех, не то всхлип в горле. – Щенок сумасшедший, скажи!..

– Так бы и погибли смертью храбрых, товарищ старший лейтенант, – заметил как бы между прочим Меженин и поковырял в банке консервов. – Вот жаль, водку напрасно потратили.

– Что вам нужно было от Княжко, комбат? Зачем врать? – Никитин дернул со стола намокшую фотокарточку. – Здесь нет никакой надписи. Значит, вам ее никто не дарил!

– Не ваше дело, не в свои дела лезете! – разозлился Гранатуров и выхватил из рук Никитина фотокарточку. – Лейтенант Княжко в этих делах – ясно кто? Как собака на сене, ни себе, ни другим. Заморочил голову бабе – и ни хрена. Ладно! Из-за бабы лезть в бутылку не хочу, разыграл я его или не разыграл – это уж тайна, покрытая мраком! – Гранатуров, потянув воздух ноздрями, сильными поворотами пальцев разорвал фотокарточку на мелкие кусочки и ударил ими о стол. – Нежные вы у меня интеллигенты! Ох уж святые, дальше некуда!

...То, что произошло или могло непоправимо произойти между командиром первого взвода и командиром батареи, открыло Никитину многое, но эта вежливая жесткость Княжко в обращении с Галей на глазах Гранатурова и ее терпеливое непотребство его официальному твердому безразличию больше всего поражали своей противоестественной неопределенностью и тем, чего Никитин еще не в состоянии был всецело понять.

– Нет, товарищ старший лейтенант, – повторил Княжко голосом знакомого упорства. – Проводить младшего лейтенанта медицинской службы Аксенову вам не стоит. Я был бы рад, если бы вы посидели с нами.

– Господи боже мой, о чем вы говорите? – со смехом воскликнула Галя. – Это имеет какое-то значение?

– Мушкетеры у меня в батарее, мушкетеры! Атос, Портос и... как там еще? Хватит мне приказы-то отдавать, удивляете вы меня! – захохотал Гранатуров против ожидания дружелюбно. – Скажу вам, Галя: лейтенант Княжко крупно играет. Только попади под его власть – маму родную вспомнишь!

– Угадали, старший лейтенант. Игра крупная, иду на весь банк, – проговорил медленно Княжко. – Сколько у вас, Меженин?

Меженин, тасуя карты, прищурился на кучу рейхсмарок.

– Восемьдесят пять тысяч, товарищ лейтенант. Сразу? На все? Под корень срезать думаете?

- Я сказал: иду на все!
- Выиграть думаете?
- Надеюсь.

«Но ведь ему все равно – выиграт он или не выиграт», – подумал Никитин и посмотрел с томящим угадыванием на Гранатунова, на Галю; он чувствовал явную нарочитость, мешающую угловатость разговора между Княжко и комбатом, но хорошо знал, что в противоположность Гранатунову Княжко не умел притворяться безобидным балагуром, отходчивым, своим парнем, чтобы по необходимости обстоятельств нравиться другим и нравиться самому себе. Это была его сила и его слабость.

«Неужели и здесь он волю испытывает?»

Он несколько раз видел, как в первоначальные минуты танковых атак Княжко с упрямым выражением лица стоял около орудий в полный рост, стоял минут пять, не пригибаясь при близких разрывах, визжащих осколками над головой, и, лишь бледнея, смотрел на вспышки танковых выстрелов, точно этим необъяснимым и бессмысленным риском на виду всего взвода испытывал судьбу. Необъяснимее было то, что, уже спрыгнув в командирский ровик, он почти гневно кричал по телефону, чтобы расчеты не маячили перед танками пристрелочными манекенами, после чего говорил Никитину, что теперь убил в себе зайца, – и внешне был спокоен до исхода боя.

– Я пойду, я прощаюсь с вами, артиллеристы, – неустойчивым голосом сказала Галя и развернула конвертиком сложенную плащ-палатку, накинула ее на плечи. – Гранатунова я оставляю. Все будет в порядке. Медсанбат недалеко.

– Галочка! – вскричал Гранатунов с шутовским страданием. – Что же вы с нами делаете? Красивая русская... одна ночью? В чужом городе?

– Я ничего не боюсь, Гранатунов. Немцы не насилуют русских врачей. Спокойной ночи, артиллеристы.

Это «спокойной ночи» было обращено ко всем, и Никитин, страстно желая сейчас, чтобы Княжко взглянул на нее, оторвался от этой не имеющей смысла игры, сказал что-нибудь, наконец, просто кивнул бы ей, увидел его ничего не выражающие глаза, непроницаемо нацеленные на карты, которые с отяжкой выбрасывал перед ним в одержимом самозабвении Меженнин. Лейтенант Княжко словно не расслышал ернического баса Гранатунова, не расслышал насмешливого ответа Гали – он прямо сидел за столом, аккуратный, способный мальчик, затянутый в подогнанную офицерскую форму и окутанный сигаретным дымом, зеленый свет абажура блестел на его чистоплотно зачесанном косом проборе, на тугой портупее, на серебряных звездочках новеньких, надетых после Берлина погон.

– Приходите к нам, Галя, – сказал Никитин, внезапно раздражаясь на Княжко, и проводил ее до двери.

Она приостановилась, завязывая тесемки плащ-палатки, темный треугольник волос, свисавший из-под пилотки, резко оттенял ее белую щеку, губы дернулись виновато и скорбно, и голос ее был негромок, пересиленно ровен, низок:

– Только вы единственный меня здесь любите, лейтенант.

И он понял, что она вкладывала в слова не прямое значение, а нечто иное – грустное, дружеское, благодарное, и, поняв, нахмуренный, неловко открыл дверь в коридор.

– Мы рады, когда вы приходите к нам, Галя.

– О, какая очаровательная псина! Откуда это? – воскликнула она в дверях и, распахивая полы плащ-палатки, наклонилась, стремительно подхватила на руки ободранную заспанную кошку, клубком свернувшуюся за порогом темного коридора, где из глубины комнат доносился храп солдат. – Это чья? Немецкая? Какая прелесть! Сто лет я не видела таких дурнушек!

Она, как ребенка, держала на весу вытянувшуюся всем длинным и мягким телом кошку, с сереющими сосками среди шерстки живота, худую, с длинными лапами, и радостно заглядывала

вала темно-кариими глазами ей в грязную зажмуренную на свет морду. Потом, смеясь, прижала ее морду к щеке, к своим прекрасным вороненым волосам, умиленно говоря Никитину:

– Она мурлычет, го-осподи, худющая, ребра одни... Наверное, недавно у нее были котята. У нее есть котята? Или какая-нибудь сирота? Бездомная?

– Понятия не имею, – ответил Никитин. – Ее утром принес лейтенант Княжко. Со двора, по-моему.

– Лейтенант Княжко! – излишне оживленно проговорила Галя, все теребя, лаская притиснутую к подбородку кошку. – Могу я взять ее в медсанбат?

– Ну зачем вам какая-то немецкая грязная кошка? – сказал Никитин, но его заглушил рокочущий наигранным возмущением бас Гранатунова:

– Эту замухрышку? В медсанбат? Доходят уважаете?

Он поднялся из-за стола, скрипя сапогами, подошел к Гале, возвышаясь над ней, отчего сразу сделалось тесно, неудобно от его громоздкого роста, от его наклоненного сверху смугломатого лица, окаймленного косыми бачками, от его сочного голоса:

– Да бросьте ее к дьяволу, Галочка, еще блох наберетесь! Нашли, ей-богу, паршака, последнего одра царя небесного, смотреть не на что!

– Так вы разрешаете или не разрешаете, лейтенант? – спросила Галя, глаза ее потухали, а пальцы медленнее и медленнее поглаживали, копошились в дымчатой шерстке кошки, и Никитин, сердясь и досадуя на молчание Княжко, поспешил сказать:

– Возьмите ее и не спрашивайте, если она вам нравится.

– А я говорю – бросьте паршивого блохаря, он вас заразит, – ласково загудел Гранатунов и жарко сверкнул зубами. – Завтра мои разведчики – хотите? – пять, десять, двадцать самых породистых в вещмешках со всего города принесут.

– Серьезно? Двадцать? А можно сто, товарищ старший лейтенант?

– Только прикажите – и все будет выполнено. Сотня разных немецких мушек будет у ваших ног, Галочка! Разведете их в медсанбате, и от мышей одни хвосты останутся.

Она посмотрела исподлобья вверх, на склоненного к ней Гранатунова, на его знойноослепительные крепкие зубы, торопясь, выпустила на пол кошку, сказала с гримасой гадливой неприязни: «Да перестаньте же паясничать!» – и, порывисто запахивая плащ-палатку, вышла в темный коридор, наполненный сонной духотой, бормотанием спящих солдат. Никитин пошел за ней и молча проводил ее до двери, затем по лужайке двора к калитке, мимо неподвижной фигуры часового, окликнувшего сквозь оборванную зевоту: «Лейтенант?» Месяц еще не взошел, лишь стояло маленькое зарево на востоке за парком позади кирхи, просачиваясь меж ветвей сосен, и на улице, безмолвно ночной, тихо осиянной оранжевым переливом брусчатника под теплым заревом, в тени низкой ограды, пахнущей водянистой свежестью сирени, он еще раз предложил:

– Я доведу вас до медсанбата?

– Ни в коем случае. Я дойду одна. Я хочу одна. Ну скажите – кого и чего мне бояться?

Она, поворачиваясь, придвинулась к нему, и необычная в этой застывшей тишине ночи близость ее лица, разительность белой щеки и черного крыла волос опять больно напомнили что-то Никитину, то, чего не было, но могло быть, и это «что-то» звенело в нем тоненьким колокольчиком, словно стоял посреди каких-то далеких лунных переулочков с тенями от деревянных заборов, пахнущих впитанным за день теплом, перегретыми солнцем досками и сыростью апрельской земли в подворотнях. Он молчал, справляясь с мучительно-сладкой спазмой в горле, которая мешала ему сказать последнюю фразу: «До свидания, приходите к нам, на Гранатунова не обращайтесь внимания», – и по отблеску ее белков уловил: она смотрела через его плечо на красновато теплеющий восход месяца за вершинами сосен позади кирхи.

– Какая ночь... Помните? «И звезда с звездой говорит...» И там еще чудесно: «Тишина, пустыня внемлет богу...» – сказала Галя шепотом. – И как далеко мы от дома... И как все

грустно. И как все глупо со мной, в конце концов!.. Ведь вы не можете мне ничем помочь, правда? А я никогда не знала, я злилась, я смеялась над этим. Как глупо, господи! – Она подергала тесемки плащ-палатки. – Но ничего, лейтенант, это отвратительно, но я справлюсь, я справлюсь, буду укрощать плоть, голодать, как монашенка, и по утрам окатываться холодной водой... И худеть на черном хлебе. И стоять на коленях. Правда, меня с детства не научили молиться, вот беда!.. Что ж я буду делать? Что же тогда делать? Влюбиться назло в Гранату-рова?

Она засмеялась странно, с горькой ожесточенностью, и в смехе этом, во вздрагивающих бровях ему показались слезы, но ее близко светившие из темноты глаза были сухи, горячи, пытались почему-то смеяться над тем, что не имело права быть смешным, а было неожиданностью, от которой не умирают, нелепостью, не случавшейся с ней и случавшейся с другими, чего она даже не могла представить раньше по отношению к себе.

«Зачем она так прямо говорит со мной?» – подумал Никитин, стесненный ее уничижающей откровенностью, ее насильным сквозь слезы смехом.

– Я этого не понимаю, – сказал Никитин.

– Что понимать? Для чего? Разве это нужно понимать? Ох, какую ересь и чепуху я вам наговорила, лейтенант, – сказала она, запрокинув голову. – Сама я виновата... Идите играть в карты. Это мужское дело важнее всякой женской чепухи. Спокойной вам ночи, Никитин.

– До свидания, Галя. Приходите к нам завтра.

– Не обещаю, лейтенант. Возможно.

Никитин слышал, как зашуршала по ограде плащ-палатка, стала смутно удаляться под нависшей над тротуаром сиренью, и, отчетливо и звучно отдаваясь, застучали по каменным плитам каблочки сапожек. И он закрыл калитку, уже обеспокоенный тем, что могут подумать о его отсутствии, подошел по узенькой в траве дорожке к часовому. Тот переминался около дома, одолеваемый дремотой, рот его раздирала необоримая зевота, доносилось мычание, лающее покашливание; Никитин сказал тоном приказа:

– Часовой! Выйдите сейчас на мостовую и на всякий случай постоите там минут пять, посмотрите, пока врач Аксенова до перекрестка к медсанбату не дойдет.

– Ясно, товарищ лейтенант, – откликнулся часовой и, переступая в траве, крикая, забормотал дремотно: – Эх и ночь, звезды-то высыпали, как у нас в России, и месяц всходит. Не для солдат эта ночь, разные мысли в голову лезут...

– Что? – спросил Никитин.

– В такую бы ночь по деревне гулять. Девчата поют, а в полях тихо, только коростель дергает... Домой бы, товарищ лейтенант! – мечтательно заговорил осевшим после долгого молчания голосом часовой. – Вот стоял и думал: скоро, кажись, должна кончиться, шутка ли? В центре Германии мы, а домой когда? Эх, какой красавец на небо-то всходит, – опять сказал он, восхищенно глядя на широко светлеющее и багровеющее зарево над деревьями. – Весна... Домой бы, домой...

«Да, да, мы в Германии, и сейчас весна, – подумал Никитин впервые за эти дни вроде бы полностью ясно и осознанно, подхваченный молодым пульсирующим током радости, облегчающим, как счастливые детские слезы, опустошением. – Да, да, конечно, весна, и война кончится!»

Месяц всходил левее силуэта кирхи, показался из горячего бездымного пожара над соснами, отраженно вспыхнул в высоких стеклах колокольни, одна подставленная месяцу каменная стена посветлела, выступила из глубокой тени ограды, и улицы налились прозрачной молочной синевой, еще более загадочной, сгустившей темноту парка, тонкие голубые полосы пролегли по конькам соседних черепичных крыш – и спящий двор, где стоял Никитин, лужайка перед домом, песчаная тропка до самой калитки, прочерченная длинными тенями, застыли под месяцем в неподвижной прохладе травянистого воздуха.

«Ведь я не ранен, не убит, и моему взводу, несмотря ни на что, просто повезло в Берлине, а остальное – пустяки. И все хорошо, все отлично, и вот весна в Германии, и скоро конец войны, и как прекрасна эта лунная ночь в немецком городке, и мне двадцать лет, и все еще будет, все, чего не было...» – подумал Никитин с тем прежним сладко и больно зазвеневшим тоненьким колокольчиком в груди, какой ощутил он возле калитки, провожая Галю, чувствуя сухой блеск ее глаз на своем лице.

Это ощущение прилива молодости, прощающей доброты ко всему, похожей на рвущуюся из души нежность, счастливое ожидание чего-то нового, что было когда-то с ним в золотой поре детства и должно быть опять предвиденно и скоро, это ощущение ожидания еще не свершившегося в его жизни, томящая готовность к предопределенному войной – неизведанному и радостному – возникало в нем с особенной силой при передвижении в горящие города, незнакомые, не до конца разрушенные, залитые по крышам домов заревом, с отсвечивающими красным булыжником мостовыми под колесами орудий, или когда через мелкую сеть дождя размыто проступал в туманце на опушке влажного леса одинокий дачный домик, где, казалось, кто-то жил ничем не измененной, влюбленной верой и в нерушимое прошлое, где были молодые прекраснотицы женщины и где в блаженном тепле, ласковом уюте могли встретить и полюбить его.

И под бегущий лепет дождя по капюшону, под чавканье грязи, под всасывающие звуки орудийных колес ему представлялся давний детский сон: какой-то фантастический поезд в золотистой, затопленной закатом степи идет меж густых трав, а он один в чудесно озаренном лиловыми лучами вагоне, испытывая нечто белое, светлое, чистое, стоит у раскрытого окна на душистом ветерке, видит эту совершенно сказочную, неземную, пустынную степь, огромные и нечеткие в первозданной гуще трав шары желтых марсианских цветов, видит ее глубоко дымящиеся желто-пепельным закатом горизонты с очертаниями таинственных городов на розовых берегах заросших пальмами рек, влекущие таким обетованным обещанием приближенной радости, что ему хотелось долго и сладострастно плакать тогда. Такой степи никогда не было в реальности, и он не помнил, когда снился этот сон. Но он чувствовал его, как неясное в звенящее в нем воспоминание чего-то несбывшегося и счастливого в его жизни.

4

Между тем игра в карты кончилась. Меженин, потный, возбужденный проигрышем, небрежно подгробал ворох рейхсмарок в сторону Княжко, а тот, засунув пальцы под ремень, легонько покачиваясь вместе со стулом, отсутствующе смотрел вверх, на абажур керосиновой лампы; старший лейтенант Гранатуров в расстегнутой гимнастерке, мыча невнятный мотивчик, притопывая ногой, устанавливал на тумбочке патефон, взятый батареей в качестве трофея еще в Польше; дежурный связист убито спал за низеньким столиком под книжными полками, всхрапывал зверскими переливами, одна щека его вдавливалась в пилотку, положенную на полевой аппарат.

– Проводил-таки? Ну и как, Никитин? – подозрительно спросил Гранатуров. – Силен, силен, мушкетер! Тихой сапой действуешь?

– Не понял, – сказал Никитин. – Проводил до калитки и немного подышал свежим воздухом. В городе тишина, великолепная ночь. С какой стати, комбат, вы взяли за патефон? Все спят, солдат разбудите...

– Залпом «катюш» их не разбудишь, не то что музыкой! Храпом, дьяволы, пять патефонов заглушат – не почешутся! Ничего, под песенки крепче спать будут, – успокоил Гранатуров и, продолжая притопывать ногой, начал перебирать пластинки. – По-польски тут... вечерна година, значит – вечерний час? Как это, Никитин, ничего? Танго бы или что-нибудь душеспательное под настроение. Верно?

– Ставьте эту, – посоветовал Никитин и подошел к камину, потрогал бронзовые статуэтки весталок. – Не ошибетесь.

Гранатуров поставил зашипевшую под иглой пластинку, грузно повалился в кожаное кресло, так что звякнули пружины, сполз в нем поудобнее, расслабил перевязь раненой руки, вытянул ноги и по-озорному заулыбался своими слепящими зубами, поглядывая на Княжко, на Никитина, сказал:

– А ничего живем, славяне. Роскошный дом, пиво, музыка, и война в зад не кусает. Ах, хорошо, братцы! И вот что скажу я вам, господа русские офицеры, заслужили мы божеский отдых, судьба нас приласкала – целыми остались, есть с чем в Россию вернуться. Главное – башка на плечах. Еще бы так месячишко отдохнуть и покантоваться, а потом – назад, в Смоленск, к родным березам! Ах, хорошо, братцы! Меженин! – крикнул он. – Давай-ка по-аристократически этот камин растопим! Дрова где-нибудь здесь есть? Под музыку огонек здорово пойдет. Жизнь мы заслужили, братцы! – сказал Гранатуров снова, заваливая голову назад и постукивая ногтями в подлокотник под ритм музыки.

– Музыка есть, а танцев не получается. – Меженин сгреб всю кучу рейхсмарок на конец стола подле Княжко и не без огорчительной досады от полного проигрыша договорил натянутым голосом: – Ваши гроши, без дураков. Законно выиграла, накатило вам. Что будете делать с ними?

Княжко, не переменив отсутствующего выражения лица, взад и вперед раскачивался на стуле, рассеянно слушая музыку, глаза его смотрели в одну точку перед собой; он ответил после молчания:

– В камин. Растопите камин.

– Не раскумекал, товарищ лейтенант.

– Так вам будет спокойнее, Меженин. Попробуйте-ка растопить рейхсмарками камин, – повторил Княжко задумчиво. – Я сжигаю свое мифическое богатство. Выигранное у вас.

– А-а, вон как вы решили. Чтоб, значит, дьявол не попутал? А нам что? Сожге-ем! Было бы приказано!

С азартным согласием Меженин примерил расстояние до камина и стал незамедлительно швырять на его железную решетку груды рейхсмарок, затем поднес огонек зажигалки к пухлому вороху купюр, повел огоньком по краю бумаг. Купюры, тронутые пламенем, неохотно зашевелились, с шелестом загибаясь по углам, чернея, – и разом вспыхнули живым костром, снизу озарив весело-злое лицо Меженина.

– Вот еще, – и Никитин ногой подбил к камину мешок с оставшимися рейхсмарками. – Бросайте в огонь все.

– А может, оставим на всякий случай? Как? – с надеждой спросил Меженин и вприщур глянул на книжные полки. – Вон топлива-то сколько, на год хватит, и еще останется.

– Делайте, что говорят, сержант. Все деньги – в камин!

– Эх и люблю же я вас, господа русские офицеры, – сказал Гранатуров размягченным тоном. – Люблю и уважаю вас, дьяволы... Братцы, спокойненько и тихо послушаем пластиночку. Помолчим малость.

Запахло в комнате дымком, теплым горьковатым пеплом, повеяло по ногам жаром огня, и забегали вихорьки пламени на железной решетке, и был домашний свет зеленого абажура над столом, и золотисто подсвечивались и камином и лампой корешки книг на полках, и стояла тишина во всем доме, и шипела заигранная донельзя пластинка, и женский голос пел на чужом языке, в котором звучали и горькая и счастливая влюбленность в поздние сумерки после разлуки, и исступленное ожидание невозможной встречи, и лейтенант Княжко, заметный узким мальчишеским лицом, легонько раскачивался вместе со стулом, и старший лейтенант Гранатуров полулежал в кресле, матово-смуглый, с косыми бачками, погруженный в мечтательное состояние умиления, – все на мгновение представилось Никитину где-то виденным, бывшим

где-то, как будто очень давно знал эти лица и очень давно, тысячу лет назад, сидел вот в такой же чужой комнате с диваном, книгами, стеклянным абажуром и видел профиль Гранатурова сбоку патефона, вблизи влюбленного женского голоса, его забинтованную руку на перевязи, задумчивые глаза Княжко и Меженина на корточках, который пачками вынимал из мешка рейхсмарки и подкладывал их в огонь.

И прежде Никитин раза два ловил себя на этом зыбком ощущении, поражавшем его смутной знакомостью секунды: так или похоже было... Где? Когда? Но никогда в его жизни не было подобного немецкого дома с библиотекой и камином, где весело горели вместо дров новенькие немецкие деньги, никогда не было такого мертвящего, беспредельного покоя в мире, словно минуту назад кончился бой на улицах города, и оглушающая тишина, заполнив ночь, пала за окнами внезапно...

Женский голос уже кончил петь на польском языке о вечерних сумерках, когда она ждала его, и он не приходил, рассыпались, обреченно упали и сникли звуки аккордеона, лишь шипела пластинка, вращаясь. Все молчали. Глядели на камин, на красные и невесомые взлеты пламени, до глухоты закованные ошеломляющей тишиной, мнилось, впервые ночью услышанной, поэтому опасной, как обман судьбы, как ложная надежда в десятках километров от войны, которая вроде бы исподволь, коварно испытывала их двумя беспечными днями блаженства. Пластинка перестала крутиться, остановилась, скрипнув иглой. И стало слышно порхание огня, мышинное шевеление сгорающих бумаг на решетке камина, куда, ни слова не говоря, подбрасывал и подбрасывал рейхсмарки Меженин. Гранатуров очнулся первый, подтянул руку перевязью, в раздумчивости соединял косяком брови, и Княжко, теперь не качаясь вместе со стулом, вопросительно покосился на задернутые шторы, откуда вплотную подступала непривычная мертвенность ночи, без единого движения во дворе. Это было наваждение замороженного безмолвия, какое бывает в лунные ночи на передовой, околдовывающей траншеи немотой распростертого затишья, и Никитин, не слыша шагов часового под окном, подумал: «Заснул он, что ли?»

– Что такое? Кто там по дому шляется? Сортир никак кто ищет? – вдруг вполголоса сказал Меженин, обладавший звериным чутьем и слухом, и настороженно повернулся от камина к офицерам: – Ну и тишина. Ровно по кладбищу мертвец ходит...

– Проверьте-ка часового, Меженин, – сказал Никитин, – а то, похоже, все умерли в доме. В том числе и часовой.

– Сейчас проверить?

– Сейчас. Выйдите и посмотрите.

И тотчас, как только вышел Меженин, Княжко поднялся, оправил пистолет на боку, как всегда, упруго и подобранно натянулся в струнку, сказал серьезно Никитину:

– Мне пора во взвод. А часовых проверять не мешало бы каждую ночь.

Тогда старший лейтенант Гранатуров, еще пребывая, еще нежась в состоянии расслабленного умиротворения, задвигался атлетическим телом в кресле и, потягиваясь, заговорил благодушно:

– Не торопись, Княжко. Ничего с часовыми не случится. Уйдешь – скучно мне будет. Ей-богу! Посидим ради компании. Вот я тебя люблю, лейтенант, несмотря ни на что, а ты меня – не очень, как вижу. Кто старое помянет – тому глаз вон! Братцы, заведем еще какую-нибудь душещипательную...

Но он не закончив фразу – бегущий топот над головой, глухие вскрики донеслись со второго этажа, хлопнула верхняя дверь, затем, точно чем-то толстым, ватным, задушило вверху голоса, – и Княжко, мельком взглянув на потолок, обратил спокойные зеленые глаза на Никитина, проговорил:

– По-моему, с твоими славянами происходит что-то... Не слышишь?

– Никто там у тебя шнапса не перехватил на трофейную дармовщинку? – спросил Гранатуров снисходительно. – Стекла не побьют, черти-лошади?

– Ерунда! Что там может быть! – выговорил, пожав плечами, Никитин; он хорошо знал, что на втором этаже прямо над кабинетом его комната, никто из взвода не располагался рядом и никто в его отсутствие не заходил туда без надобности. – Подожди, я посмотрю и провожу тебя, – сказал он Княжко и пошел к двери, несколько тоже обеспокоенный непонятным шумом, голосами наверху.

В коридоре было тихо, темно, пахло душным деревом и солдатскими сапогами, в нижних комнатах разносился залиvistый храп, сочное почмокивание, бормотание спящего взвода, и не слышно было ни шагов, ни шороха на втором этаже, на мансарде, куда вела деревянная лестница из закутка коридора за чуланом кухни.

– Меженин! – окликнул наугад Никитин в потемки спертго воздуха нижних комнат. – Где вы там?..

Ответа не последовало.

Он подождал, уже озадаченный, и ошупью стал подниматься по шаткой винтовой лестнице на второй этаж и тут, на темной площадке, остановился, прислушиваясь к тишине мансарды.

В следующую минуту он явственно уловил слухом какое-то протяжное, животное мычание, слабый, вырвавшийся стон из-за двери своей комнаты, задавленный тяжелой возней, задыхающимся хриплым шепотом: «Дура, дура, молчи, сволочь!» – и, совсем не понимая, что здесь случилось, в чем дело, не понимая, кто мог быть ночью в его комнате, с ударившим приливом крови в висках сильно толкнул дверь мансарды.

– Кто тут?.. – крикнул он.

Лунный свет в широкое окно обнажал половину комнаты, синей полосой отражался в зеркальной дверце открытого бельевого шкафа, скомканная груда одежды валялась на полу около опрокинутого венского стула, а на кровати в глубине мансарды возился, мычал, боролся, трещал пружинами неясно чернеющий комок тел, и первое, что отчетливее успел заметить он, было что-то задранное круглое белое, похожее на женское колено, которое вздергивалось, елозило, высвеченное луной, по одеялу, по краю сползшей к полу перины, и там, оттуда, от чернеющей груды тел выдавливались, как из-под толщи подушки, зажатые вскрики:

– Nein, nein, nein!..⁵

– Кто тут, черт возьми!..

И Никитин, ужасаясь тому, что сейчас, через секунду, увидит кого-нибудь из солдат своего взвода, потихоньку затащившего немку сюда, на свободную мансарду, и взбешенный этим предположением, кинулся к кровати, грубо рванул кого-то в темноте за крутое плечо и, рванув, мгновенно узнал охрипый, пресекающийся руганью голос Меженина, квадратной массой отскочившего от постели: Меженин угрожающе возник перед ним в косяке лунного света – стеклянными шарами перекатывались сумасшедшие глаза на призрачно-белесом его лице, чернел рот, раскрытый судорожным дыханием.

– Меженин! – отчаянно крикнул Никитин. – Ты что? Обезумел?

– Не лезь, лейтенант... Не мешай, лейтенант... – хрипел ему в лицо Меженин, обдавая удушливым махорочным перегаром. – Не лезь!.. Уйди! Какое твое дело, лейтенант? Уйди отсюда... уйди, уйди, по-человечески говорю!..

Нечто омерзительное, оголенное, как звериный оскал безумства, проглядывало в этом остекленном, мечущемся взгляде Меженина, в этом полоумном его бормотании, и Никитин, опаленный приступом отвращения и гнева, изо всей силы оттолкнул его от кровати, крича:

– Спятил? Кто эта немка? Откуда? Как она оказалась здесь?

⁵ Нет, нет, нет!

– Шпионка, стерва, в дом пробралась... – просипел Меженин и, вроде сообразив, что надо теперь делать, с придыханием матерясь, бросился к постели, дернул на себя подушку, прикрывающую грудь без движения лежавшей навзничь женщины, цепко схватил ее за руку, рывком сорвал с постели. – Вставай!.. Говори! Зачем пробралась в комнату лейтенанта? А? Планшетку с картой стащить хотела? Говори, вражина, шпрехай, шпрехай, говорят!

Он так крепко держал, стискивал ее кисть, что она тоненько, жалобно вскрикнула, вся выгнулась назад: «Nein, nein!» – и при лунном свете увидел Никитин ее загнутую шею, молоденькое бледное лицо, зажмуренные от боли глаза, ее длинные, почудилось, синеватые волосы, некрасиво, растрепанно свесившиеся на одну сторону.

– Отпустите ее руку! Что вцепились в девчонку? Вы! Сержант!.. – скомандовал Никитин неостывшим голосом. – Какая еще, к дьяволу, планшетка? Ерунду городите, планшетка всегда со мной! Как вы ее здесь застали? Что она здесь делала?

– Хрен ее знает, как сволочуга оказалась... Шкаф открыла... вещи выбирала... Вошел, а она окно пыталась открыть... – говорил Меженин прерывисто и, выпустив кисть немки, пинком ноги разбросал тряпки на полу, а немка загнанным зверьком вдруг прижалась спиной к стене, затрясла головой, дробно стуча зубами, всхлипывая, повторяла стонущим шепотом: «Nein, nein, nein!»

– Заткнись, сука! – заорал с расхлестнутой свирепостью Меженин. – Завела свое «найн», как шарманка! Скажи лучше, зачем сюда пришла? Откуда пришла? Как?..

– Не кричите, Меженин! Что она вам ответит, если не понимает по-русски! – И Никитин, еще не зная, что нужно предпринять, как поступить, безуспешно подыскивая неповоротливые в памяти, известные немецкие слова, выговорил наконец: – Wer sind Sie, Frau? То есть, кто вы... откуда? Wer sind Sie?..

Немка звонко выстукивала дробь зубами, вжималась дрожащим телом в угол, и, когда что-то ответила слабым глотательным звуком, не понятное Никитиным, он поймал только единственно знакомое слово «Haus» и требовательно переспросил:

– Haus? Wer sind Sie? Warum Haus?⁶

– Лейтенант! Слышь! – внезапно крикнул Меженин, срываясь к окну, и заколотил кулаком в задрезжавшую раму, распахнул одну половину. – Кажись, тревога!

В этот же миг внизу, под окнами, раздались голоса, суматошное топанье ног, следом взвился пронзительный окрик: «Стой, стой, стрелять буду!» – и клацнул затвор, опять затопали, забегали около дома, сверкнула зарницей багровая вспышка, прогремело, оглушило звоном, и в оглушенной винтовочным выстрелом тишине послышались тупые удары, ругательства, чей-то задавленный взвизг, потом на нижнем этаже заревел бас Гранатурова:

– Часовой! Сюда его, сюда! Кто такой? Тащи его, если жив!..

– О, Ku-urt! Ku-urt! – рыдающе вскрикнула немка и вытянутой тенью скользнула к окну, перевесилась вниз, по-детски затряслась, захлебнулась воплем и плачем:

– Nicht schiesen! Kurt, Kurt!..⁷

– Меженин, ведите немку вниз! Быстро!

Никитин скомандовал это, сбегая по винтовой лестнице в густые потемки первого этажа, где потревоженно гудел из комнат говор разбуженных солдат, наткнулся на кого-то впотьмах, кажется, на заспанного Ушатикова, выскочившего в коридор («Тревога? Немцы?»), увидел настежь раскрытую дверь гостиной, хаотичное движение фигур за порогом и ощутил едкую тесноту в груди, какая бывает при наступившей неизвестности, молниеносно и неотвратимо изменяющей обстановку.

⁶ Дом? Кто вы? Почему дом?

⁷ Не стреляйте!

Когда он вошел, Княжко и Гранатуров уже стояли посреди комнаты, напряженные, хмурые, оба смотрели то на возбужденного часового, еще державшего карабин на полуизготове, то на безобразного своей крайней худобой мальчишку-немца лет шестнадцати, в очках, одетого в широкий не по размеру немецкий мундир, неимоверно грязный, прожженный на боку, свисающий на острых плечах; его огромные, покрытые пылью сапоги кругло расширились нелепыми раструбами голенищ вокруг тощих ног, и видно было, как крупно ходили дрожью колени, обозначенные пузырями солдатских брюк.

Мальчишка этот, затрудненно дыша, облизывал растрескавшиеся губы, полузакрытый прилипшими волосами лоб лоснился обильным потом, острый носик на давно не мытом его лице восково выделялся, словно у мертвого.

– Ну? – густо прогудел Гранатуров и приблизился к немцу, сверху вниз окинул его черными, прожигающими глазами. – Откуда ты такой гусар, вояка появился? Вервольфик? Ну? Где оружие? Обыщи-ка его подробно! – приказал он часовому. – Всего обыскать, ясно? Выверни его наизнанку!

Часовой сделал грозные глаза, закинул за спину карабин и рыскающими жестами стал ощупывать, выворачивать карманы немца, объясняя при этом жаркой скороговоркой:

– Стою, луна как раз взошла... Слышу, шебаршит за домом, думаю – должно, кошка или собака, или кто из наших по нужде вышел. Обыкновенное дело... Глянул, а под яблоней за домом фигура стоит и, похоже, на окно вверх смотрит. И очки под луной – сверк, сверк!.. Нет, думаю, очкариков в нашем взводе сроду не было. Выскочил из-за угла, ору: «Стой, стрелять буду!» А он – наутек, я в небо пальнул – и за ним. Подмял его, а он, гаденыш, визжит и – за руку укусил! Стукнул я его по шеям, конечно...

Поочередно выложив на стол донельзя несвежий, ржавого цвета носовой платок, солдатскую зажигалку-снарядик, смятую пачку сигарет «Юно», кучку пистолетных маслянистых патронов, облепленных галетными крошками, маленькую фотокарточку в целлофане – все содержимое карманов немца, часовой старательно почистил руку о полу шинели, с видом доказательства показал Гранатурову запястье, пояснил озлобленно:

– Так в мясо зубами и впился, клеща немецкая! Из лесу, видать, вервольф, разведчик, не иначе – разнюхивал. Змееныш, а навроде пацан!

– Все? – спросил Гранатуров, сверху вглядываясь в низко опущенную голову немца. – Значит, оружия нет? А ну-ка, часовой, осмотрите как следует место, где его схватили. Может, там что осталось.

– Слушаюсь. Сейчас мы.

Часовой пошел от немца боком, потом усердно затопал кирзовыми сапогами к двери и здесь на пороге оторопело посторонился перед Межениным, пропустив его; а тот, поигрывая желваками, втолкнул в комнату очень молоденькую немку, почти девочку, простоволосую, испуганную, в разодранном до бедра ужасающе нечистом платье, – она будто из последних сил продвигалась по расшатанной жердочке через пропасть, балансируя над гибельной высотой, отчего неприятно были видны напрягшиеся ключицы в разрезе незастегнутого платья; пухлые искусанные ее губы вздуто чернели, как рана. Увидев мальчишку-немца, она вскрикнула задохнувшимся шепотом:

– Kurt, Kurt!..

И зажала ладонью рот, с отчаянием наклоняясь вперед, точно вдавливая рыдания в себя, а он, сгорбленный, повернул к ней грязное птичье личико, тряско запрыгали очки на восковом остреньком его носу, но не ответил ничего, только трудно сглотнул – кадык бугорком пополз по горлу.

Никитин, еще помня белую коленку, елозящую по одеялу, задушенный крик «nein», смотрел на эту растрепанноволосую, некрасивую в своем разъятом страхе, молоденькую немку, на этого ссутуленного, безобразного в своей худобе и внешней воинственной нелепости маль-

чишку-немца, зачем-то ночью оказавшихся здесь, в занятом его взводом доме, – и, все яснее чувствуя взаимосвязь между ними, проговорил, спешно опережая объяснения Меженина:

– Комбат, немку обнаружили в моей комнате... – Он запнулся и не назвал Меженина, чтобы сейчас не касаться нехоти обостряющих положение обстоятельств. – В первую очередь надо выяснить... Непонятно, зачем ей надо было брать белье в шкафу...

– Она? Была в твоей комнате? – проговорил Гранатуров, ожигая испытывающими глазами немку. – Если даже эта грязная кошечка – шпионка, каким образом она оказалась именно у нас? Так вот, допросить их, допросить немедленно! Выяснить – кто они? Кто послал их? С какой целью? Лейтенант Княжко!.. – Он властно взглянул на хмурого Княжко, ни звука в этом разговоре не вымолвившего, и добавил, как бы готовый разозлиться: – Ты у нас по-немецки соображаешь. Давай. Допроси их. Давай, Княжко, приступай! – поторопил он той приказывающей интонацией, в которой было и предвкушение сурового развлечения, и опыт человека, взявшего на себя привычную ответственность. – Действуй, я буду вопросы задавать. Сейчас все выясним, зашпихают, гады, как миленькие!

Княжко поморщился.

– Я имею достаточное представление, какие следует задавать вопросы. Это во-первых. Во-вторых, когда мы с вами перешли на «ты»? Сегодня?

– Ладно, ладно в бутылку-то лезть! Выкать буду. Ладно.

– Благодарю.

И лейтенант Княжко, весь суховато-упрямый, до предела заталенный ремнем и португеей, шагнул к пленным и сейчас же заговорил по-немецки, обращаясь то к несуразно тощему юнцу, то к молоденькой немке, произнес несколько фраз довольно спокойно. Никитин разобрал одно знакомое слово «Name», понял, что он спрашивал имена, фамилии, увидел, как набряк страхом взгляд немки, как еле разлиплись опухшие ее губы, и она ответила тающим шепотом.

– Emma... Herr Offizier...

Юнец молчал, туго глотая, точно воздух не мог из груди вытолкнуть, лишь челноком ползал по горлу кадык, и тогда Гранатуров, нависая над ним из-за спины Княжко, сильно ткнул пальцем ему в плечо:

– Что, онемел, сосунок? Курт – твое имя! Так? Спросите-ка его – из вервольфа он? Из леса? Сколько их там?

Но Княжко оборвал его холодно:

– Вот что, товарищ старший лейтенант, если вы будете перебивать меня и тыкать в пленного пальцем, я прекращу допрос.

– Ладно, ладно! – зарокотал недовольно Гранатуров. – Цирлиха-манирлиха много, как вижу. Что они с нами сделали бы, если б мы у них в лапах оказались! На огне бы поджарили!

– Кишки через нос потянули бы и плакать не дали! – напористо вставил Меженин. – Да и немочка – фрукт: ишь, козочкой притворяется. Шпионка, сука!

Он топтался позади немки, поводил задымленными глазами по ее спутанным космами неопрятным волосам, по узеньким бедрам, по ее полным в икрах и тонким в лодыжках ногам. Он, видимо, не хотел простить и себе, и этой невзрачной немке ее сопротивления в мансарде, тот крик сквозь толщину подушки и, самолюбиво уязвленный, мстил ей и словами, и взглядом злобы, которая была понятна Никитину.

«Что за ересь говорил он мне наверху? – подумал Никитин, опасаясь вспоминать ощущение скользкой черноты, захлестнувшей его на мансарде. – В чем я могу его обвинить? В попытке изнасиловать вот эту немку? Но он не боится меня, потому что никто ничего не видел, а к немцам нет сочувствия ни у кого. Неужели я посочувствовал ей?»

За стеной, в коридоре нижнего этажа, пронесся шум голосов, засновали шаги людей, дверь приоткрылась – в проем всунулось пожилое серьезное лицо командира четвертого орудия сержанта Зыкина, он доложил сумрачно:

– К нам патрули прибыли! Кто стрелял, спрашивают. Враз прибежали!

– Поговори с ними, Никитин, – приказал Гранатуров. – И много не объясняй, не распространяйся, сами разберемся!

Никитин вышел в коридор, где желтым пламенем чадила немецкая жировая плошка, поставленная на тумбочке под вешалкой, и горели плошки в двух комнатах – там шатались по стенам тени взбудораженных солдат; около входной двери темнели три незнакомые фигуры в плащ-палатках, тускло поблескивало оружие. Сразу же к Никитину выдвинулся один из них, судя по фуражке, офицер, прямой, сухощавый, спросил с начальственным требованием:

– По какой причине на вашем участке возникла стрельба, товарищ лейтенант? Кто стрелял?

– Ничего особенного, – ответил Никитин, соображая, что объяснять подробности – значит усложнить все, заранее вмешивать дотошную, всегда придирчивую комендатуру в дела батареи. – Перестарался часовой. Сами выясним причины.

– Открывать стрельбу ночью в немецком городе – это не «ничего особенного», а ЧП, – неподатливо возразил офицер. – Вчера, например, обстреляли штабную машину в лесу, да будет вам известно. Один наш солдат убит, два офицера тяжело ранены. «Ничего особенного». Все трезвы в вашей батарее?

И он с недоверием приблизил свое строгое, немолодое лицо, беззастенчиво принявшись к дыханию Никитина, затем оглянулся на солдат: они уже группами столпились в дверях комнат, смотрели оттуда объединенно и недобро, а сержант Зыкин в угрюмой замкнутости каменно уставился на огонек плошки. Взвод, не сговариваясь, общим молчанием поддерживал Никитина перед чужим начальством, хотя сейчас он сам до конца не сознавал, почему лгал офицеру из комендатуры и почему полностью не верил в серьезность того, что мог по долгу службы предполагать патруль.

– Насчет выстрела мы разберемся, – проговорил Никитин. – Больше вопросов нет? Я должен идти.

Офицер выждал немного.

– Смотрите, лейтенант, смотрите в оба! Распушенность в условиях Германии знаете до чего доводит?

– Будем смотреть в оба. Знаем.

Когда же патрули выходили, мимо них боком вскользнул, суетливо втиснулся клином меж их телами часовой, едва не запутавшись в плащ-палатке офицера, что заставило его удивленно откачнуться, загремел сапогами по коридору к Никитину, выговаривая на бегу:

– Нету, ничего нету, товарищ лейтенант!

– Голову сломите! – остановил его Никитин. – Как следует осмотрели вокруг дома?

– Чисто на карачках по всем уголкам облазил, товарищ лейтенант. Ничего нету!

– Хорошо, идите на пост. И не дремать, ясно? – И, подумав, сказал ожидавшему приказаний Зыкину: – Проверьте часовых у орудий, пока тревоги не было.

В столовой продолжался допрос.

Мальчишка-немец, заикаясь, опустив маленькую птичью голову, отвечал на вопросы Княжко, очки сползали на кончик остренького потного носа, он с робостью глотал слюну в паузах между словами, вид его был все так же нелеп, жалок, пришиблен, и Княжко не перебивал его, выслушивал сосредоточенно-упрямо после каждой своей фразы.

Гранатуров, придерживая здоровой рукой раненую руку, ходил по комнате, мерил ее шагами, то и дело глыбообразно возвышаясь позади Княжко, подозрительно гмыкал, издавал горлом густые мычащие звуки, одними этими звуками сомневаясь, не доверяя робкому лепе-

танию на немецком языке, которое, казалось, не могло быть доказательным, обмануть его, как и пришибленный вид пленного. Меженин стоял за спиной немки, презрительно оглядывал ее с ног до головы, ее разодранное на бедре платье, и это явно мстительное, раздевающее презрение его было отвратительно Никитину – не исчезал, не выходил из памяти обезумелый, удушьяющий табачным перегаром сип Меженина в мансарде: «Уйди, лейтенант, уйди, не мешай, говорю!»

– Громче, сосунок! Не нуди! – грозно scomандовал Гранатуров, оборачиваясь к уныло поникшему под его командой немцу. – Что шелестишь, как мышь в крупе? Конкретно спросите его, Княжко! Из вервольфа он? Да или нет?..

Стало тихо. Немка всхлипнула, и увеличенные глаза ее, наполненные влагой, еще больше раздвинулись, замерли на нетерпеливо-требовательном лице Гранатурова – гулкий раскат его баса повторным громом ударил по комнате:

– Конкретно – да или нет? Фашист он или сосунок всмятку? Каким образом оба очутились в этом доме?

Княжко покривился, будто от тупой боли, сказал бесцветным голосом:

– Перестаньте кричать, как на базаре... – Он говорил спокойно, но в тоне его накалялась тихая ярость. – Курт по фамилии Герберт, шестнадцати лет, месяц назад взят в вервольф, в боях не участвовал. Во что, впрочем, можно поверить. Дальше. Курт Герберт родной брат этой девушки, Эммы Герберт. О чем сказали оба.

– Брат и сестра? Хо-хо! Знаем мы это! А видать, спят в одной постели, – проговорил Меженин зло, однако Гранатуров, заглушая его, настойчиво повторил вопрос:

– Каким образом оба очутились ночью в этом доме? Цель? Какая цель была у обоих?..

– Вы что – меня допрашиваете? – спросил без интонации в голосе Княжко, и тихая ярость все упорнее нарастала в его глазах. – Так вот, слушайте внимательней! Как заявили Эмма Герберт и Курт Герберт, они хозяева этого дома. Представь, обнаружили хозяева, – Княжко вскользь усмехнулся Никитину, перевел дальше: – Жили здесь втроем с дедом, как я понял, с отставным полковником. *Grosvater ist Oberst?*⁸ – быстро спросил он обоих по-немецки, еще раз уточняя для себя, и в ответ молоденькая немка как-то уж очень поспешно закивала ему, лепеча с надеждой и заискивающим согласием: «Ja, ja, Oberst... Reichswehr»⁹. – Да, отставной полковник, семидесяти пяти лет. Месяц назад выехал, а точнее, конечно, удрал в Гамбург, поближе к англо-американцам. Вероятно, как я думаю, боялся нашего прихода. Эмма Герберт осталась охранять дом. Тридцатого апреля, когда стали летать советские самолеты, ей стало страшно одной в доме, перевозжу дословно, она взяла продукты из дома и стала жить у подруги в этом же городке, в каком-то сарайчике.

– Дед полковник в Гамбурге у американцев, эта... козочкой в сарайчике жила. А этот Курт... Черт Иваныч в лесах с автоматом шастал? – резко выговорил Гранатуров. – Ничего себе хозяева! С целью разведки в свой дом вместе с сестричкой пришел? Что им тут вдвоем нужно было? Вот главное! Кто их послал?

Тихая ярость, готовая вот-вот выплеснуться вспышкой (как ожидал Никитин), пригласла в глазах Княжко, он, похоже, намеренно не придавал значения последнему вопросу Гранатурова и, обращаясь к одному Никитину, заговорил невозмутимо:

– У меня, видишь ли, нет желания пристрастно допрашивать, а тем более воевать с грудными детьми. Особенно – вот с этими. Это первое. Второе. Эти наивные дети узнали, что Берлин взят, пережить нечего, и решили бросить дом, двинуть в Гамбург к своему престарелому и перепуганному нашествием русских гротсфатеру. Взять вещички, переодеться – и в дорогу... Этот Курт вернулся из леса и сказал об этом сестре. Так они объяснили. И я готов

⁸ Дед полковник?

⁹ Да, да, полковник... рейхсвер

верить, представь себе. Дальше. Эмма вошла в дом через черный ход со стороны сада. Курт ждал внизу. Кстати, этот Курт сказал, что в лесу, за озером, вервольфов человек двадцать, в том числе его сверстники, мальчишки лет пятнадцати-шестнадцати во главе с ефрейтором из какой-то разбитой части. Вооружены автоматами и фаустпатронами.

– Та-ак! – длинно протянул Гранатуров, направляясь крупными шагами к Курту. – Та-ак! Автоматы и фаустпатроны? Двадцать человек? Тогда уж скажи, дорогой мой Курт, где они? Где располагаются вервольфы? Ни хрена за очками не видно! – Он витиевато выругался. – Во... зинд... вервольфы?... – крикнул он, подбирая немецкие слова, и резко бросил большую свою руку на кобуру. – Во... ист вервольф? Вифиль... километр? Шпрехе¹⁰, шенок! Ну? Отвечай!

И Курт вобрал птичью голову в узенькие прямые плечи, на которых, как на вешалке, обвисал широкий, с прожженной полкой мундир, облизнул губы, обметанные крупными каплями пота, залопотал что-то испуганное, неразборчивое, в беспомощности озираясь на сестру, и Никитину показалось, что даже оттопыренные ребячьи уши его побелели. А она в онемелом страхе, умоляя раздвинутыми на половину лица глазами и Гранатурова и Княжко, перестала дышать, неразвитая грудь ее круто поднялась, затвердела камешками, и наконец она выдохнула вскриком отчаяния:

– Nien, Herr Offizier, nein! Nein!¹¹

И закрыла лицо ладонями, мотая спутанными волосами в приступе тоскливой незащищенности.

Струйки пота скатывались по грязным щекам Курта, голова все глубже уходила в плечи, тощая шея мелкими толчками все ниже нагибалась, и сутуло, углами проступили лопатки под мундиром, потом хлипкий кашель вырвался из остренького его носа, он подавился, поперхнулся и еле выдавил какую-то разорванную фразу, глотая ее вместе со слюной.

– Вчера в лесу обстреляли штабную машину, – вполголоса сказал Никитин, взглянув на Княжко. – Сообщил патруль. Он знает об этом?

– Вчера? Обстреляли? – подхватил Гранатуров. – Ну-ка, Княжко, вопрос щенку! Они стреляли?

«Неужели вот такие молокососы устроили засаду в лесу? – подумал Никитин, пытаясь соотнести обстрел машины с видом этой сгорбленной, жалкой мальчишеской спины немца и его мокро хлюпающего носа. – Просто не верится. Да им кашу манную есть, а не из автоматов стрелять. Не может быть, чтоб такие, как он!..»

– Что там этот хмырь мокроносый мычит? – угрожающе спросил Гранатуров, не снимая руку с кобуры. – Если не ответил, повторить вопрос, еще повторить, Княжко! Вчера стрелял, а сегодня в разведку пошел? Эт-то пусть ответит!

Княжко задал вопрос и с подчеркнутой сухостью перевел:

– Он сказал, что вчера не был в лесу, а был в городе, у сестры. Кроме того, ефрейтор каждую ночь выбирает новое место ночевки. За разглашение тайны – расстрел. Некий Фриц Гофман был расстрелян за то, что поранил о сучок ногу, не мог идти... Ефрейтор зажал ему рот ладонью и выстрелил в сердце.

– Вот гад! – пренебрежительно сказал Меженин, не то имея в виду ефрейтора, не то Курта. – Повесить мало! Всех до единого! Я б им припомнил «хайль Гитлер!». Они б у меня покрутились!

Гранатуров, расставив ноги, медленно покачивался с носков на каблуки, скулы его заметно теряли смуглоту, приобретали серый оттенок.

– Значит?.. Отказывается говорить? Так я понял, Княжко? – сниженным до подземного рокота басом выговорил Гранатуров, зрачки его вдруг слились с шальной жутью глаз, и он дико

¹⁰ Где вервольфы? В скольких километрах? Говори...

¹¹ Нет, господин офицер, нет! Нет!

тряхнул головой в сторону двери. – А ну-ка выйдите все, только братца немочки оставьте! Я поговорю с этим онанистом, как фрицы с моим отцом и матерью в Смоленске разговаривали! Он у меня шелковым станет, мразь вервольфовская!.. Они еще будут вокруг нас с автоматами ходить!

– Змеиное семя! Чикаемся с ними! Все они тут – фашистское отродье, душу иху мотать!.. – выmaterился Меженин жестоко. – наших людей мучили, а тут еще молчит, выкормыш гитлеровский! Стрелял вчера?

Никитин слышал о чем-то страшном, детально неясном, что случилось в сорок первом с семьей Гранатунова в Смоленске (отец его, кажется, был директором школы, мать – учительницей), о чем сам он мало говорил, и, подумав об этом, тут же увидел сплошной оскал зубов на посеревшем лице комбата, увидел, как напряглись слоновьей силой его плечи и чугунной гирей дрогнули и повис вдоль тела пудовый кулак. Он никогда не замечал этого ослепленного, ярого, звериного проявления в нем, и почему-то мелькнула мысль, что одним ударом Гранатунов легко мог бы убить человека. Но это звериное, темное, неосмысленное проявилось и у Меженина там, с немкой, в мансарде, точно бы зараза насилия полыхнувшим пламенем внезапно прошла от него к Гранатунову, как проходит безумие по толпе, слитно опьяненной жаждой мщения при встрече человеческого существа, вовсе не сильного, растерянного, несущего в себе понятие врага, – поверженный враг, еще жалко сопротивляясь, порой вызывает ненависть более острую, чем враг сильный.

Это не понял, а инстинктивно почувствовал Никитин, и в ту же секунду пронзительный взвизг немки прорезал тишину комнаты – с рыданием она кинулась к Курту, по жестам, по голосам, по взглядам догадываясь, что должно было произойти сейчас; она вцепилась в шею брата и, наклоняя его маленькую голову к своему лицу, хватая его помертвевшее лицо скачущими пальцами, повторяла одно и то же с мольбой:

– Kurt, Kurt, Kurt!.. Antworte!..¹²

– Меженин! – заревел Гранатунов, надвигаясь на Курта. – Убери эту мокрохвостку к едреной матери! Выйдите все! Я поговорю с ним! И этот слюнявый скорпион стрелял в нас? А, Меженин?..

Меженин плюнул на ладони, растер, будто бы дрова рубить собрался, обеими руками схватил немку за плечи, рванул, оторвал ее от Курта, и тотчас же неузнаваемый, накаленный голос Княжко хлестнул зазвеневшим выстрелом:

– Назад!..

И, сделав два шага, подобно разжатой стальной пружинке, оттолкнул Меженина локтем и, бледнея, стал между Гранатуновым и Куртом, произнес непрекословным голосом приговора и Гранатунову и себе:

– Это вы сделаете только в том случае, если меня не будет в живых! Вам ясно, комбат?

– Меженин! Выйдите отсюда! – подал команду Никитин, горячо подхваченный решимостью Княжко. – Чтоб вашего духа здесь не было!

– Ишь ты, лейтенант!..

Меженин перевел задымленные бешенством глаза на Никитина, затем, по обыкновению смежив ресницы, для чего-то потирая жестко ладонь о ладонь, прохрипел Гранатунову: «Немчишки им, оказывается, дороже, а?» – и, переваливаясь, двинулся к двери, открыл ее кулаком, вышагнул и так стукнул дверью, что закачался огонь в лампе.

– Ну та-ак! – понимающе пропустил через зубы Гранатунов и отступил к столу, сел, отбросился на стуле, свесив на груди забинтованную руку. – Так, мушкетеры сказочные, значит, из-за немцев передеремся друг с другом в конце войны? Так вы добрее меня, значит? Вы чистенькие херувимчики, а я?..

¹² Отвечай!

И, уже видимым усилием заставляя себя остыть, овладеть припадком злобы, договорил почти охлаждение:

– Из-за этих щенков? Может, насмерть перебьем друг друга? Из-за них? Ох, Княжко, Княжко, как жить мы будем? Выключить бы против меня механизм надо! Враги мы или в одном окопе сидим?

Но Княжко молчал. Бледность не сходила с его лица, оно было все так же упрямо, твердо, и было странно видеть сейчас его новенькие парадные звездочки на погонах, зеркально отполированные хромовые сапожки, безукоризненный пробор аккуратно зачесанных светлых волос – и Никитин невольно подумал: «Да, он в самом деле – механизм».

– Так вот, – заговорил очень внятно Княжко, как бы ни слова не услышав из того, что говорил Гранатуров. – Совершенно ясно, товарищ старший лейтенант, что эти немцы – хозяева дома. Значит, дом принадлежит им. Им, а не нам. И это абсолютно справедливо. Поэтому пусть собирают вещи, то, что им принадлежит, и уходят куда хотят, хоть в Берлин, хоть в Гамбург. Пусть уходят.

Гранатуров забарабанил ногтями по пустому стакану.

– И отделавшийся испугом божий одуванчик мотнет к своему ефрейтору? Так следует понимать, Княжко?

– О, как это опасно, товарищ старший лейтенант, если даже так! Двадцать мальчишек с сосками сидят в лесу, запуганные каким-то ефрейтором. Вот этот Курт достаточно убеждает, кто там еще остался.

– Ой, как мило!

– Что «ой»?

– Автоматы и фаустпатроны – сосочки, Княжко?

– Думаю, что воевать надобно с достойным по силе противником, а не... – Княжко без прежнего любопытства посмотрел на тощую, затихшую в страхе фигуру Курта, на молоденькую немку, чуть приоткрывшую в кровь искусанные, вспухлые губы, закончил равнодушно: – А не с цыплятами.

– Ой, как все мило, лейтенант!

– Хочу напомнить, – непререкаемо продолжал Княжко. – Вы официально находитесь на излечении в медсанбате, товарищ комбат. Я замещаю вас на должности командира батареи. И я принял решение. Никакого боя не было. Мы их в плен не брали. Они сами пришли, как хозяева своего дома. И, повторяю, пусть уходят, если хотят. Ты, Никитин, надеюсь, не возражаешь?

«Да, Княжко упрямо заведен ключиком в одну сторону. В обратную его не заведешь! Но почему он так уверенно принял решение, вот что неясно», – подумал Никитин с осуждением и тайным восторгом перед непоколебимой убежденностью Княжко, зная, что он теперь не согласится с любым возражением Гранатурова, как часто не соглашался с ним при выборе противотанковых позиций и, зля комбата самонадеянным упорством, сам уточнял огневые для своего взвода. И Никитин, не полностью сознавая непреклонную правоту решения Княжко, но подчиняясь его знакомой, даже на миг не сомневающейся твердости, сказал:

– Я согласен с тобой. Боя не было, мы их в плен не брали.

– Прекрасно, – произнес Княжко.

Гранатуров, с вытянутыми на ковер ногами, развалясь, уронив к полу здоровую руку, сидел в позе утомленного человека, насмешливо и терпеливо выжидающего, чем все это может кончиться, а когда нахмуренный Княжко подошел к немцам и быстро заговорил с ними, он выдул всей грудью сильную струю воздуха, выговорил:

– Не много ли, Княжко? Не много ли на себя взято? Ох, как загнута! Не заплакать бы от такого приказа...

Княжко, однако, не ответил ему, не прервал разговора с немцами, и Никитин видел, как дрожаще отвис подбородок у растрепанно некрасивой Эммы, как нервически толкнулась вбок,

от плеча к плечу, продолговатая птичья голова Курта, и неизвестно почему пришла раздраженная мысль, что этот мальчишка, худой, нелепый весь, не от мира сего, так ни разу и не снял во время допроса большие свои очки, придающие ему несуразный облик болезненно комнатного вундеркинда, и стало смутно на душе – он сказал неприязненно:

– Интересно, умеет ли он стрелять?

– И дурак умеет, – бросил Княжко и, заканчивая объяснительный разговор с немцами, заключил дважды произнесенными командами:

– Alles! Alles!¹³

Было непонятно – вслед за этим командным «аллес» Эмма узкими шажками приблизилась к Княжко, не подымая заплаканных глаз, сделала короткое приседание, затем неожиданно и несколько стыдливо присела перед Никитиным, сказала запухшими губами с подобострастной благодарностью: «Danke schon, Herr Offizier!»¹⁴, после чего тронула безвольную кисть своего брата, должно быть еще не поверившего в спасение в этот последний момент, и с заискивающим лицом повела его за руку, видимо, на правах старшей сестры, к двери. Он пошел за ней, неуклюже заплетаясь сапогами, а ребячий, с глубокой ложбинкой затылок его боязливо вжимался в воротник мундира, вероятно, ожидая окрика или выстрела в спину.

– Alles, – повторил по-немецки Княжко, когда дверь за ними закрылась, и, взглянув на ручные часы, сказал серьезно: – Кажется, пора подышать свежим воздухом перед сном. И заодно проверить часовых.

Минуту длилось молчание.

– Эх, господа офицеры, господа офицеры, аха-ха... – выдохнул Гранатуров, разжав сцепленные челюсти. – Много взято – кому платить? А если что, кому-то из нас придется отвечать... не погонями, а головой.

– Да? – бесстрастно удивился Княжко. – Что ж, погон пара, голова одна – отвечу, товарищ старший лейтенант.

Никитин сказал:

– Я с тобой. Сам проверю часовых на всякий случай.

– Проверять их надо без всяких случаев, – ответил Княжко и, чистоплотно сдунув невидимые пылинки с пилотки, надел ее. – Пошли, Никитин.

– А? Куда? – спросил Гранатуров размышляюще, и задумчивое смуглое лицо его, повернутое к Княжко, передернулось тоскливо. – В медсанбат? Напрасно. Думаю, Галочка спит в это время, лейтенант. – И он затрещал стулом, с притворным томлением распрямился своим двухметровым телом. – Замещаете меня и взяли на себя все? Крепко! А если этот гадкий утенок со своим братцем пришла с целью пошпионить, то что вы ответите смершу, господа офицеры? Придумали ответ? Так вот: придумывайте за троих, чтоб скопом было. Я все-таки люблю вас, дьяволы, за рискованность!..

Княжко набросил на плечи плащ-палатку, не принимая полушутливого тона Гранатурова, жестковато ответил:

– Придумывать не стоит. Именно тогда займется трибунал мной, товарищ старший лейтенант. – Он строевым жестом поднес руку к пилотке, добавил смягченно: – Лучше всего располагайтесь до утра на диване. Спокойной ночи!

Они вышли.

¹³ Все! Все!

¹⁴ Очень благодарна, господин офицер!

5

Глубокой ночью Никитин просыпался несколько раз, с чувством беспокойства ворочался, приподымал голову, прислушиваясь к неживому безмолвию дома, к застывшей, без единого звука тишине городка, из конца в конец залитого лунным светом. Сыроватой свежестью сирени, запахом цветущих яблонь тянуло прохладной струей в раскрытое окно, влажным ветерком омывало его горячее лицо. Среди пустынного сияния неба, над островерхими черепичными кровлями на западе недоспелым ломтем арбуза висела за соснами луна, и крыши, и сады, и улицы с серебристым переливом брусчатника – все было затянуто синим дымом, по-ночному неподвижно, только изредка возле дома шуршала трава под сапогами часового, и тогда Никитин, успокоенный, снова засыпал.

Уже на заре он вздрогнул в полусне от постороннего звука, раздавшегося где-то рядом. Он открыл глаза и, поворачиваясь на бок, машинально рванулся к обмундированию на стуле у изголовья, к кобуре пистолета, положенной поверх гимнастерки, но тут же понял, что разбудило его внезапно: возникли шаги на площадке лестницы, потом слабенько постучали в дверь – и затихло.

Было светло и зябко. Стояло, сквозило через пламенеющие вершины сосен утро, раннее, розовое, прозрачно-чистое.

– Кто там? – крикнул Никитин. – Ушатиков, вы?

В дверь опять негромко постучали, и сквозь повторный стук осторожный девичий голосок, замирая, пролепетал на немецком языке:

– Darf man herein, Herr Offizier?..¹⁵

«Что такое? – подумал Никитин, встревоженный, восстанавливая в памяти все случившееся ночью, и в голове его туманно мелькнуло: – Это та фрейлейн Эмма? Она вместе с братом собирала вещи в другой комнате на мансарде, когда я вернулся после проверки постов. Да, они должны были уйти утром... Зачем она ко мне? Что-нибудь хочет сказать? Сообщить? Что-нибудь произошло?»

И Никитин, еще нечетко соображая, поискал на всякий случай русско-немецкий разговорник и, не найдя его, потянул перину на грудь, откликнулся без уверенности:

– Входите. Херайн. У меня не заперто.

Дверь легонько толкнули, она медленно приотворилась, проскрипела – и в щелку сначала вдвинулся маленький поднос с чашечкой, две тонкие руки, торчащие из широких рукавов цветного халатика, и, держа подносик, боком вошла Эмма, закрыла дверь коленкой, заспанно и робко улыбаясь вроде бы одеревеневшими губами:

– Guten Morgen, Herr Offizier, guten Morgen!..¹⁶

– Guten Morgen, – ответил Никитин, стесненный этим ее приходом, удивленный необычным видом этого подносика с чашечкой кофе, наверное, предназначенного для него, и, не сумев скрыть первой неловкости, покраснел и, запинаясь, усиленно напрягая школьные знания немецкого языка, попытался спросить:

– Was ist das? Warum?¹⁷

– Ihr Kaffee, Herr Offizier. Bitte schon!¹⁸

Покачивая лапами халатика, она подошла несмело, предупредительно-ласково кивая, поставила подносик на край постели, и он, до растерянности смущенный, даже отодвинул ноги

¹⁵ Можно войти, господин офицер?

¹⁶ С добрым утром, господин офицер, с добрым утром!..

¹⁷ Что это? Почему?

¹⁸ Кофе, господин офицер. Пожалуйста.

под периной подальше от подносика, глядя на нее тупо-невыспавшимися, вопросительными глазами.

– Was ist das? Warum? – проговорил он одну и ту же школьную фразу.

– Bitte sehr, Herr Offizier, bitte sehr. Guten Morgen!

– Guten Morgen, – пробормотал он, томясь и не находя, что сказать ей на ее улыбку, как возразить по поводу кофе, принесенного ему в постель.

– Bitte sehr.

Она тоже в замешательстве сделала вчерашнее полуприседание возле постели, ее раздвинутые волнением серо-синие глаза с осторожной, прислушивающейся улыбкой смотрели на губы Никитина, а он ощутил: в комнате по-утреннему запахло туалетным мылом или едва внятным одеколоном (запах этот встречал Никитин в немецких офицерских блиндажах, и так же по-немецки источали лавандовую сладость вещи здесь, в пустом доме, когда они заняли его). И он зачем-то подумал, что она по аккуратной привычке умылась недавно холодной водой с ароматическим мылом, – ее желтые, казалось, сплошь выгоревшие на солнце волосы были по-новому опрятно причесаны, отливали золотистым блеском; и еще бегло увидел он детские, густые, как у мальчишки, веснушки, они весело пестрили ее лицо вокруг чуточки вздернутого носа, и лишь один рот был прежним – некрасиво вздутым, искусанным.

Он отвел взгляд, вспомнив ее придушенной подушкой, распростертой, раздавленной в постели, где сейчас лежал он, ее зажатые вскрики «*nein, nein*», ее в сопротивлении двигавшееся колено под лунным светом из окна, и со стыдом от того, что она должна была помнить это, почувствовал влагу испарины на лбу.

– Danke¹⁹, – чрезмерно официально сказал он, напуская на себя строгость, и в то же время подумал: «Как это неудобно – кофе в постель. Чего она ждет? Пока я выпью кофе? Что за обычай? И что делать?»

Он решил и сел на постели, придерживая перину на груди, взял крошечную фарфоровую чашечку, отпил глоток теплой горьковатой жидкости, помедлил из-за неуверенности, отпил еще глоток, опустошая всю чашечку, и поставил ее на подносик.

– Danke, – сказал Никитин и, чтобы как-то выказать необходимую, вероятно, в таких случаях особую благодарность за оказанное внимание, сконфуженно солгал: – Прекрасный был кофе. То есть... *wunderbar, ausgezeichnet Kaffee*²⁰. Спасибо.

– Bitte schon, Herr Offizier. Спа-ас-ибо?..

Она поняла и, продолжая улыбаться, сделала то странное покорное полуприседание, какое удивляло и озадачивало его, – от этого ее приседания в разрез халатика выглянуло ее белое круглое колено, – и он, уже горячо краснея, тотчас отвернулся к стене, снова вспомнив тот момент вчерашней ночи, когда вбежал в мансарду и различил на постели темную шевелящуюся массу и это безобразно отогнутое ее колено.

– Danke, – пробормотал Никитин и посмотрел на потолок, на его гладкую чистоту, по которому веерообразно и зыбко расходились розоватые блики солнца как отражение в воде.

«Ей надо сейчас как-то сказать, чтобы она ушла, – поспешно подумал он, испытывая потребность высвободиться из необычного положения вяжущей скованности. – Она здесь, а я не одет. Как ей сказать: „*komm*“, „*weg*“, „*zurück*“?²¹ Или махнуть рукой в сторону двери? Может быть, улыбнуться и сказать: „*Danke, zurück*“? Каким с ней быть – вежливым, строгим, официальным? Она видела меня вчера в том жутком состоянии. Я кричал на Меженина. И наверно, она боится меня. Что она говорит? О чем она говорит?»

¹⁹ Спасибо

²⁰ Прекрасный, отличный кофе.

²¹ пошла, прочь, назад

– Herr Leutnant... Hamburg, Kurt dort²², – разобрал он отдельные, неясно понятные слова из ее речи, неловко натолкнувшись на ее расширенные мольбой глаза.

– Черт... я не понимаю по-немецки, – сказал он. – Знаю немного. Что? О чем вы?

А она говорила что-то быстро, тревожно, заискивающе, тонкий голосок ее чуждо звучал, произносил немецкие фразы, сливаясь в какое-то беспокойство, в подобострастную просьбу, и Никитин, безнадежно силясь понять ее, вдруг Смыслове соединил несколько знакомых слов «Kurt», «nach Hamburg»²³, увидев, как ее пальцы стали показывать на поверхности подносика шагающие ноги, и он для подтверждения уже возникшей догадки переспросил:

– Как? Курт ушел?... Kurt kom nach Hamburg?²⁴ То есть... – Он так же пальцами изобразил движение ног по перине, в конце движения начертил вопросительный знак, повторил: – Гамбург? Курт? Один? Kurt ein? А вы?

– Курт, Курт... – Она сине осветила его глазами, закивала так торопливо, что медно-желтые волосы рассыпались по ее щекам, но сейчас же с ожиданием и страхом прижала щепотку пальцев к груди – и вновь заговорила робко, спешаще, взволнованно, объясняя, прося его о чем-то.

Он не понимал и, не понимая, то слегка улыбался, то хмурился, – и это малейшее изменение его лица настороженным выражением обозначалось на ее лице, оно становилось то умоляющим, то недоверчиво-радостным, то погасшим; и тогда наконец он принял единственное решение:

– Послушайте... где-то здесь разговорник. Прошу, подайте мне его. Bitte, geben Sie mir Buch. Klein Buch²⁵. – Он показал на комод. – Кажется, там. Deutsche-russische Buch?!²⁶ Прошу вас. Bitte...

Она, вникая в его речь, проследила за его взглядом и тотчас сказала, округлив губы: «О!», проворно поставила подносик на комод, обеими руками бережно, будто хрупкую вещь, взяла с комода еще довольно новенький, незалистаный разговорник, сделала шагжок к постели, опять полуприседая:

– Bitte schon, Herr Leutnant.

Он развернул разговорник, пролистал главы: «Допрос пленных», «Разговор в сельской местности» («А, все не то, все не то!»), остановился на главе «Разговор с мирными жителями», сказал в приготовленном внимании к нужным фразам:

– Noch einmal... Langsamer sagen Sie, bitte²⁷.

– Ich bleibe-e... hier... mein Haus... mein Zimmer...²⁸ – для чего-то сама коверкая грамматику, протяжно заговорила Эмма и при этом напряженнее и напряженнее прикладывала щепотку пальцев к груди, отрицательно качала головой. – Ich, ich... bleibe hier... Haus...

Наморщив лоб, он старательно искал в разговорнике соответствующие ее словам ответы («Haus» и «Zimmer» были известны со школы) и не находил ничего подходящего, кроме ничемных сейчас, воинственных вопросов, что произносят надсадным криком между автоматными очередями: «В вашем доме не прячутся немецкие солдаты?», «В верхних комнатах никого нет?», «Кто хозяин этой квартиры?»

– Не понимаю... Nich verstehe²⁹, – бормотал он, сердясь на себя. – Как болван немой! Что вы говорите? Haus? Zimmer?

²² Гамбург, Курт там

²³ Курт... в Гамбург

²⁴ Курт уехал в Гамбург? (искажен.)

²⁵ Пожалуйста, дайте мне книгу. Маленькую книгу.

²⁶ Немецко-русская книга (искажен.)

²⁷ Еще раз... Говорите, пожалуйста, медленнее (искажен.).

²⁸ Я остаюсь... здесь... мой дом... моя комната...

²⁹ Не понимаю

– Ein Moment, Herr Leutnant! Entschuldigen Sie...³⁰

Она села на край постели, заглядывая в разговорник, тихонько наклонилась, овеяв сладковатым запахом волос, сокровенно-теплым телесным запахом халатика; он рядом, избоку увидел край ее ясного, внимательного глаза, веснушки на щеке, край нежной, шелковистой брови и, покрываясь жаркой испариной от ее близости, непроизвольно отодвинул ноги под периной, ставшей невероятно тяжелой, душной, подумал с мгновенным и привычным опасением:

«Зачем я позволяю ей смотреть в разговорник? Это все-таки военная тайна... Зачем она села на постель? Надо ей об этом сказать».

– О! – воскликнула она, водя мизинцем по строчкам и обрадованно и вместе виновато попросила его шепотом: – Lesen Sie russisch, Herr Leutnant³¹.

«Как ей сказать? Как?»

Он не совсем отчетливо разобрал строчки под ее мизинцем с обгрызенным ноготком и не сразу прочитал вопрос по-немецки, суть которого стала ясна лишь по переводу на русский язык: «Вы беженцы? Из какого города?» – «Нет, это наш дом, мы остаемся здесь».

– Ich bleibe. Ich bleibe... Kurt in Hamburg, ich bleibe³², – говорила Эмма тихо, убеждающе и страстно, и тут он на ощупь догадался, что она умоляет, выпрашивает у него разрешения, хочет остаться здесь и боится, что ей не позволят этого – быть в доме, занятом русскими солдатами.

«Но почему ушел Курт, а она осталась? Ушел ли он действительно в Гамбург? – возникло подозрение у Никитина. – И почему она обращается ко мне, а не к Княжко? Ведь он допрашивал их вчера. Имею ли я право ей не разрешить жить в своем доме? Глупо!.. Если она осталась, то нет сомнения – Курт не ушел в лес...»

– Гут... – Он захлопнул справочник и бросил его на стул, сверху обмундирования, придушенного кобурой пистолета. – Gut. Bitte. Gut. Das ist, – начал подбирать он слова: – Das ist... richtig³³.

– О, Herr Leutnant! Danke schon, danke! О, Herr Leutnant!³⁴

Она повернулась к нему, вся просияв, счастливо обдав его солнечной синью засмеявшихся глаз, и с легким стоном облегчения, с каким-то решенным замирающим выражением лица упала головой на его подушку, и вымытые, еще влажные волосы ее опажули его душистой карамельной сладостью. Он почувствовал на своей шее ее обнявшие прохладные руки, тоже пахнувшие туалетным мылом, почувствовал, как они, не размыкаясь, потянули его куда-то порывисто, в мягко-шершавую горячую бездну ее прижавшихся полураскрытых губ, не давших перевести ему дыхание, успел подумать, что происходит нечто ненужное, невозможное, опасное сумасшествие, которое надо сейчас, немедленно остановить, а ее дурманные, яблочного вкуса губы шептали что-то, нежно скользили, терлись, вжимались в его губы, и ее пальцы ослабленно искали его кисть, осторожно тянули вниз, в тайную, нагретую телом внутренность халатика. Он ощутил ее гладкий живот, атласно-гладкое бедро, до головокружения, до спазмы в горле пугающие обнаженной и страшной близостью, и в ту же секунду сделал движение высвободиться из притягивающей тяжести ее тела с прежней мыслью о ненужном, опасном, противоестественном, что вчера ночью насильственно могло произойти и не произошло вот тут, на этой постели, между нею и Межениным и чего она сама хотела сейчас. «Зачем?» – знойными искрами пронеслось в сознании Никитина, и он, взяв ее за плечи, покорно отдающиеся его рукам, чуть-чуть отстранил ее и в муке поиска потерянных где-то в тумане памяти слов прошептал отрывисто и хрипло:

³⁰ Извините...

³¹ Читайте по-русски, господин лейтенант.

³² Я остаюсь. Я остаюсь. Курт – в Гамбурге, я остаюсь

³³ Хорошо. Пожалуйста. Хорошо. Это... это правильно.

³⁴ О, господин лейтенант! Большое спасибо, спасибо!

– Эмма... нет...

– Sergeant nein... Soldaten nein! – вскрикнула она жалобно и, изгибаясь, прильнула к нему грудью, обняв его иступленно. – Danke schon. Danke...

В этом его «nein» было что-то необъяснимое, чужое, незрелое, никак не вязавшееся с его решительностью на мансарде прошлой ночью, он даже стиснул зубы от этого немужского вырвавшегося слова, встретив в упор раскрытую глубину ее глаз, недвижно-огромных, синеющих ему в глаза, почему-то вспомнил ощущение пронзительно тонкого и беспричинно радостного колокольчика, когда при восходе месяца над ночным городком он провожал Галю, подумал: «Я буду жалеть об этом? Я совершаю предательство?»

– Danke schon, mein Leutnant. Danke schon.

– Danke schon?.. – проговорил он механически, едва понимая и не веря ей. – Warum? Warum?.. Почему «danke schon»?

– Ich, ich... Ruig...³⁵ Тсс!..

Она вскочила с кровати, щелкнула замком двери и, мелькая ногами, вернулась к постели, покорно опустила на колени и припала лбом к его плечу, спутав, навесив волосы на лицо.

Он слышал ее шепот, прерывающийся дыханием; она, странно, уголками рта улыбаясь ему из-за навеса волос, вдруг легла, гибко повернулась на спину и начала робкими рывками развязывать тесемки, с гримасой стыдливости сдергивать непослушный халатик и, уже бесстыдно вытягивая возле него длинное молодое тело, открыв маленькую млечно-нежную грудь, торчащую розовым острием соска, опять, зажмурясь, ощупью нашла его руку и провела ею по своим целующим губам, по шее, по груди, ознобно дрожа и всхлипывая сквозь стук зубов.

«У меня никогда еще этого не было. Только тогда, в окружении... – с ужасом подумал он, стараясь сдерживать и не сдерживая передающуюся дрожь ее зубов. – Но ведь она немка, а я русский офицер...»

– Эмма... Эмма...

И он, оглядываясь на дверь, пересохшим голосом невольно повторял ее непривычное на звук имя, весь пронизанный знойным током, испытывая стыд, растерянность от своей нерешительности и преодолевая унижение нерешительности, убеждая себя, что это уже никогда не повторится в его жизни, губами отвел с замершего лица ее желтые, влажные, пахнущие сладкой карамелью волосы, приник, вдавился губами в ее ищущий, подставленный рот.

...Они лежали на чердаке среди неумятых груд старого сена, и он все время чувствовал, что она из темноты смотрит на него; в лучике лунного света, проникающего через щель крыши, глянецито поблескивали ее глаза; она говорила, вздрагивая:

– Слушай, почему ты отодвинулся? Ты брезгаешь мной? Правда, мы так давно не мылись. Какие мы потные, грязные... Слушай, мы не прорвемся из окружения. Они утром войдут в деревню. Слышишь, как тихо?

– Да.

– Я сегодня почему-то испугалась смерти. Ты помнишь Клаву из противотанковой батареи?

– Да.

– Ее убило утром, когда мы хотели второй раз прорваться. Ты видел, как ее убило?

– Нет.

– Хорошо, что ты не видел. В воронке осталась санитарная сумка. Нет, клочки – вата, бинты... и что-то еще страшное. А она была красавицей, помнишь? Вы все глазели на нее, когда она приходила ко мне. Но она была недотрога. И никто из вас... Я и сейчас помню, какие были прекрасные у нее глаза! И фигура. Как статуэтка. И ничего нет. И вот – все...

³⁵ Я... я... Тихо...

Он молчал, у него не было сил пошевелиться, ответить ей, вспомнить глаза и фигуру Клавы, санинструктора противотанковой батареи, где не осталось на второй день окружения ни одного целого орудия. Тогда, расталкивая сено, она пододвинулась ближе к нему, прижалась боком, с задержанным дыханием завела одну руку за его шею, другой стала расстегивать пуговицы на его пропотевшей за три дня боев гимнастерке и, расстегнув пуговицы, неуверенно просунула маленькую кисть к потной, липкой его груди; ее узкая, огрубелая, несколько дней не мытая ладонь так незнакомо-нежно и так выжидающе гладила его грудь, касаясь кончиками пальцев его подмышек, что он подумал, внезапно замерзая от темной ревности и от этих порочных прикосновений: «С кем у нее было так?»

– Слушай, у меня есть спирт в сумке, – зашептала она, похуже, плача, частым нажатием губ целуя его в кран рта, – дать тебе? Хоть спиртом обтереть лицо. Только не смотри на меня. Я сейчас... Может, так нам будет лучше. Мы не вырвемся из этого окружения, я знаю. Хоть пусть будет так. У тебя когда-нибудь это было... с женщиной?

– А у тебя?

– Когда-то в детстве. Но это было игрой. В каком-то сарае... Понимаешь? Ты только не ревнуй. Разве тебе не все равно?

– Не знаю.

– Не надо ревновать. Ты лежи, а я буду целовать тебя. Потом ты меня будешь целовать.

В ту же ночь, перед холодным рассветом, когда они оба лежали истомленно, тесно обнявшись во сне после того, что вдвоем познали здесь, на чердаке окруженной деревни, он был разбужен гулками, вибрирующими звуками – дрожала земля в накатах внутренних сотрясений – и с острыми толчками в сердце открыл глаза. Обнимая его, она спала на его руке, и, словно успокоительно найдя защиту, лежала теплая тяжесть ее головы, лицо было детским, доверчивым, чуть обиженным, и он ощущал терпковато-миндальный запах ее волос, испытывая к ней какую-то болезненную жалость от вчерашних ее попыток быть чистой, тупую горечь от того, что они не почувствовали друг от друга ожидаемого облегчения в неумелых и торопливых объятиях.

А за фиолетовым оконцем чердака все явственнее, все ближе накатывал клокочущий рокот моторов, вскоре желтый свет пополз по задрезавшему стеклу, с улицы взметнулась из танкового гула неразборчивая команда на немецком языке... Он прислушивался, еще не видя, что было возле дома на улицах, но уже знал: немцы занимали деревню, где оставались после разгрома дивизиона лишь несколько солдат и они – двое. И с холодеющей пустотой в груди он выпростал руку из-под ее головы, встал к чердачному оконцу. Загородив улицу, в огне фар густо шла колонна танков, тянулась по обочине двумя цепочками пехота.

– Вставай! Быстро! – Он потряс ее за плечо, лихорадочно застегнул ремень.

Она не сразу сообразила, в чем дело, сонная, скривилась даже: «Что? Какие танки?», но, когда сообразила, он не дал ей сказать ни слова, шепотом скомандовал, чтобы не отставала ни на шаг, и, вздернув автомат наизготовку, откинул дверцу чердака, первый спустился по лестнице вниз, в сыроватые сенцы оставленного хозяевами дома.

Весь дом гудел, наполненный ревом танков, железным скрежетом гусениц, позвякивали стекла, оранжево вспыхивали под боковым скольжением танковых фар, и мелко звенела дужка порожнего ведра в сенцах, пропахших плесенью запустения.

– Мы не выйдем отсюда... Я так и думала, – сказала она шепотом, спустившись следом, и как бы без надежды на спасение прислонилась виском к его спине. – Куда нам бежать? Они убьют нас, лейтенант...

– За мной! Не отставать ни на шаг! Через огороды... к лесу! – выговорил он, раздраженный ее шепотом, ее плачем без слез, в котором было обреченное бессилие. – На! Возьми мой пистолет! Стрелять умеешь?

– Нет, нет... Я умею только перевязывать раненых.

– А, черт, смотри! Надо нажимать вот здесь. Спусковой крючок. Прицелиться и нажимать!

Потом они бежали огородами по развороченным, рыхлым грядкам, плохо видя среди темноты окраинные дома, проваливаясь в воронки, падая в жестяно звеневшее на ветру будылье кукурузы, они оба задыхались и теперь ничего не слышали, кроме бешеного стука крови в ушах. Слитый гул моторов, немецкие команды танкистов из открытых люков, низкое мелькание фар меж домов уже стали отдаляться влево, и они, бросками миновав огороды, добежали до края сереющего в рассветном воздухе поля, различая черную под пространством фиолетового неба гряду леса за ним.

Он не то чтобы пропустил роковой момент, когда на краю поля с сухим потрескиванием разрежала потемки ракета, пышно и фосфорически осветлив воздух, деревянный мостик над полосой воды, он слишком поздно увидел впереди на бугре два силуэта, слишком поздно услышал лающий окрик «Halt!»³⁶ и только кинулся на землю, за руку рванув ее, притиснув головой к колючей влажной стерне, автоматная очередь прогремела над ними.

«Halt, Halt!» – вместе с ударами сердца звучало в его ушах.

И, бросив для упора на предплечье ствол автомата, он прошептал ей с верой в единственный выход:

– Их двое... Они сейчас подойдут, я дам очередь!.. И бегом через мост! На мосту стреляй из пистолета, хоть в воздух! Поняла?

– Я постараюсь, я буду стрелять. Я поняла. Я буду...

Немцы не подходили. Смутно выделяясь на бугре, они стояли шагах в двадцати под звездами, переговаривались вполголоса, потом вновь оглушила разрастающимся треском, шипением ракета. И в тот миг он разорвал, заглушил все звуки длинной ослепляющей очередью. Он стрелял снизу и снизу хорошо видел их на бугре, который проступал над рекой полукругом, был темнее рассветного неба, и хорошо видел, как они плашмя упали там, слились с землей.

В оглушенной тишине донесся спереди человеческий вскрик настигшей боли, звяканье железа, как будто автомат ударился на земле о каску, и с охолонувшим его чувством убийства и яростного освобождения после убийства он крикнул ей не своим голосом:

– Быстрей! Через мост! Не отставай! Только не отставай!..

Он вскочил и с тем же жадным чувством спасительного убийства, выпаливая очереди по бугру, бросился к мосту не напрямик, а делая сумасшедшие изгибы, зигзаги по полю, пока не находя открытого прохода к реке, а когда, перестав стрелять, выбежал на берег, пустой бревенчатый мост виднелся в пяти метрах перед ним, и вода отсвечивала под небом разлитым марганцем.

– Лейтенант, подожди! Я не могу... Подожди!..

Она догнала его, не в силах справиться с зашедшимся дыханием, лицо стало пугающе белым, и, в изнеможении придерживая санитарную сумку той рукой, в которой был пистолет, она выдавливала шепотом:

– Я упаду... подожди, я не могу...

– Брось сумку, брось, говорят! За мной на мост! Проскочим – и в лес! Брось все! Беги на мост!

– Нет, не могу, милый, подожди...

Она, вконец задохнувшись, закрыла глаза, опускаясь на землю, и тогда, подчиненный грубой инстинктивной решимости, он дернул ее за плечи, потащил за собой, вытолкнул ее вперед, гневно скомандовал:

– Беги! Я – за тобой! Ну! Я прошу тебя!..

³⁶ Стой!

Они ступили на деревянные настилы, и тут она качнулась на подкошенных ногах, схватилась за перила моста и, перебирая руками, сделала так несколько вялых шагов. Она всхлипнула:

– Не могу, не могу...

– Ну! Что ж ты? Да что ты?.. – крикнул он в диком безумии, оттого что не мог заставить ее бежать и уже не имел права бежать сам, и опять с такой неистовой грубостью дернул ее за плечи, что она чуть не упала, отрываясь от перил.

– Быстрее, быстрее!

Но как только они побежали по мосту, сзади взорвалась, заколотила пулеметная очередь, трассирующие пули горячим сквозняком взвизгнули, пронеслись над ними, шевельнули волосы на голове, и он с разбегу бросил ее на настилы бревен и, лежа вплотную к ее телу, обернул к ней искаженное страшным криком лицо:

– Отползай! На тот берег! Я догоню!.. Ползи отсюда, быстрее!

Он минуту назад был уверен, что убил первой очередью тех двоих немцев на бугре, охранявших мост, но было ясно: кто-то третий еще оставался в береговом окопчике с пулеметом и открыл по ним огонь, скоро заметив их на мосту.

Ожидая тупой и огненный удар смерти, он хрипел: «Отползай, туда, за мост», и, не глядя, как она поползла, услышал лишь ее стон и ее передвижение по настилам, посунулся под деревянную защиту перил, охваченный мертвящим ознобом, положил на бревно ствол автомата, ослепленный вспышками на бугре, молниями трасс, высекающими осколки щепы из крайних к воде лесин.

Палец потерял чувствительность на спусковом крючке, окаменел в упругом охвате морозного железа, а когда отдача очередей забила в ключицу, мысль о близкой спасительной воде не покидала его: если его тяжело ранит, то он еще сумеет подняться, перевалиться через перила и ринуться туда, вниз, в вечное ничто или счастливую свободу.

– Отползай! Отползай! – кричал он. – С моста! Уходи с моста!..

Он стрелял длинными очередями, не отпуская занемелого пальца со спускового крючка, и еле очнулся от тяжелой тишины: автомат пусто клацнул без выстрела и смолк. В горячке он не рассчитал патроны. Обморочно звенело в ушах. Пулемет на бугре тоже смолк – вспышек там не было. Он вскочил и, пригибаясь, бросился по мосту к тому берегу, слыша в чудовищном затишье свое дыхание и гулкий грохот своих сапог по бревнам, с пьяным ощущением спасения, свободы пробежал до конца настила и там спрыгнул на землю, мешком скатился под насыпь в скользкую мокрую траву – и, падая, задыхаясь, увидел то, что не предполагал увидеть после удачно законченной перестрелки и прорыва через мост.

– Что? Что у тебя?..

Она сидела под насыпью, расстегнув гимнастерку на груди, клочком ваты промокала, вытирала плечо, и он видел бесстыдно и страшно обнаженную, измазанную кровью ее грудь, которую этой ночью на сеновале (впервые в жизни) целовал, трогал, робко ласкал пальцами ее шелковистую кожу; видел вату, пузырек со спиртом, выливаемым сейчас на комок, ваты, тот пузырек, вынутый ею тогда из сумки на чердаке, чтобы смыть с себя пороховой запах боев перед тем, как обоим испытать сладкую боль от первых прикосновений, от неумело слитых губ, ищущих любви, этого последнего успокоения, на колких ворохах сена, в лунном осеннем холоде окруженной немцами деревни.

– Когда тебя ранило? Где? Как это?.. – повторял он, потрясенный видом крови на ее груди – мягкость и упругую нежность и запах ее он еще до сих пор помнил, – и с попыткой помощи, в ошеломлении неожиданной беды рванул из санитарной сумки бинт, говоря прерывистыми выдохами: – Я перевяжу тебя. Мне удобней. Я помогу тебе...

– Да, помоги мне, – прошептала она смертельно посинелыми губами, не стыдясь его, а он видел, с каким трудом разомкнулись они, безжизненные, представил, насколько холодны

они были сейчас, насколько не нужно им было теперь ничего, кроме его помощи. И в бессилии перед случившимся, не зная, чем облегчить ее страдание, ее боль, он содрогнулся от пронзившей его жалости к ней, от собственной вины и ненависти к себе: зачем он гнал ее, зачем заставлял бежать вперед, зачем командовал, грубо дергал ее за плечи – неужели на мосту она была уже ранена!..

– Ты прости меня... Я ничего не заметил, я не видел, когда тебя ранило! Тебя ранило на мосту?.. – зачем-то говорил он, в мутном ожесточении сожалея и оправдываясь, и все поправлял и затягивал сползавший бинт на ее груди, на ее плече, ужасаясь набухающему темной влажной бинту и тому, что она долго не сможет, вероятно, вместе с ним двигаться. – Нам надо идти... пока темно, – убеждал он. – Ты можешь идти? Метров триста до леса, а там – уже все!.. Будешь держаться за меня... Мы медленно пойдём! Ты встань, встань, пересиль себя, встань и пойдём!

– Я не хочу в плен, лейтенант, – простонала она. – Но я не могу. Сейчас, подожди. Помоги мне, пожалуйста.

Он помог ей подняться и некоторое время держал ее в объятиях, растерянный, чувствуя вздрагивания ее обмякшего тела, ее потный лоб, прижатый к его подбородку; она держалась за его ремень.

Потом они пошли по полю, подобно неразлучным влюбленным, не разъединяясь, шли одинаковыми рассчитанными шагами, она, обвисая на нем, обнимала его за талию. А он не ощущал ни женственной упругости ее бедра, тершегося о его бедро, ни ее родственного тепла, слышал отдаленное гудение танков справа и за спиной, всякий раз оглядываясь на разрывающий темноту свет ракет в стороне дороги, где катилась колонна, и, боясь увеличенной тяжести ее шагов, боясь, что она упадет, хриплым шепотом повторял, что главное – дойти до леса, главное – пройти это поле, а там уж отдохнем и прорвемся к своим...

В лесу они, подкошенные усталостью, упали на груды осенних листьев, и сразу тяжелое забытие бросило их в жаркую обморочную тьму, но, казалось, минуту спустя он был разбужен беспокойством, тревожно возникшими звуками – над шумящими деревьями, сквозь мотание ветвей и желтую метелицу срываемых ветром листьев светило студенистое ноябрьское солнце. Она, согнувшись, сидела возле, положив на колени пистолет, смотрела прозрачным долгим взглядом на свой палец, слабо трогая спусковой крючок, слезы текли по ее щекам, и почему-то она звала его плачущим голосом человека, который не в силах решиться:

– Лейтенант, лейтенант...

– Ты что? – крикнул он и сел, выхватил у нее пистолет и, спешно пряча его в кобуру, выговорил с неприятием и непониманием: – Зачем? К чему тебе оружие? Зачем?

Она подняла голову к неяркому в оголенных ветвях солнцу, глотая слезы, по горлу прокатывалась судорога невылитого плача.

– Ты меня жалеешь, лейтенант? – спросила она, мокро хлюпая носом. – Мне приснилось страшное... Как будто я лежу в траве – и муравьи ползают у меня по лицу. Стало очень страшно – и я проснулась. Лейтенант... милый, ты будешь меня жалеть?..

– Перестань говорить об этом! – оборвал он, страшась ее слов о муравьях; он не однажды видел их на лицах убитых, как видела, наверное, она, и, не представляя ее мертвой, лежащей в траве, не хотел представлять муравьев на ее лбу, бровях, неподвижных, неживых губах, потярявших тепло дыхания. – Пошли! Какие муравьи осенью! Пошли! – хмуро сказал он, чтобы кончить этот разговор, и требовательно попросил: – И больше ни слова об этом! Дойдем как-нибудь. Здесь совсем недалеко.

Он подставил плечо, помог ей встать, и она, застонав, подаваясь к нему, внезапно неловко и преданно стала целовать каким-то очень холодным, запекшимся ртом его небритый подбородок, сукно насквозь пропотевшей гимнастерки около погона, и утраченный голос ее опять пронзил его огненной жалостью:

– Ты самый близкий, самый единственный... Больше у меня никого не было. Ты ведь любишь меня, лейтенант? Ты со мной не просто так?

– Пошли, я помогу, пошли! Я люблю тебя! – проговорил он глухо, не глядя ей в отыскивающие его взгляд глаза; он лгал ей: бегство из занятой немцами деревни, колонна танков на улице, стрельба в поле и на мосту, сознание безвыходного окружения, ее ранение, единственное желание – прорваться к своим через лес – все это выжгло, уничтожило в нем то, что было между ними ночью на чердаке.

– Пошли, нам надо! Опирайся на меня! Мы должны идти, мы прорвемся, осталось недалеко, за лесом – наши!..

Она подчиненно пошла с ним, обвив его за талию, ступала неровно, откидывая назад голову на ослабевшей шее, шепча изредка:

– Спасибо тебе, спасибо.

На вторые сутки у нее пошла кровь горлом. Это случилось утром после ночного перехода, после бесконечного блуждания по лесу, после того, как окончательно выбившись из сил, они распластанно лежали в овраге близ ручейка на куче листьев и только дышали.

Потом ему послышался стон, кашель, мычание, и, когда увидел ее изуродованное страданием лицо, на котором удивление и боль еще боролись со страхом смерти, когда увидел ее искривленные брови, непризнающие глаза, алую струйку крови, выползавшую в уголках рта, он, точно затравленный, загнанный судьбой, заметался вокруг нее, ощутив рядом ледяной запах гибели. И, весь окаченный обмораживающим порывом несчастья, спрашивал ее, что надо делать, что ей нужно, что необходимо сделать, как помочь, хочет ли она пить, что она хочет... Но она, беспомощно хватаясь за землю, сжатая удушьем, не понимала, не слышала живого человеческого голоса, по-прежнему сопротивляясь тому, что, невидимое, неумолимое, наваливалось, душило ее грудь. Тогда он, крича что-то самому себе бессмысленное, дикое, для чего-то кинулся к ручью, зачерпнул пилоткой воду и обратно рванулся к ней с этой наполненной свинцовой влагой чашей, вылил всю воду на ее лицо, уже тихое, страдальчески прижатое щекой к листьям, обращенное в никуда. И, погружаясь в хлынувший ужас ее недавнего страха, он в ту секунду почти обезумело представил, как завтра или весной начнут шевелиться, ползать муравьи по вот этим ее бровям, по вот этим ее очень темным неприкрытым ресницам.

Он стоял на коленях и отупело тискал мокрый комок пахнувшей потом пилотки, а зубы его выбивали дробь, и горло замыкало сухими спазмами непоправимой вины и отчаяния.

Он похоронил ее в овраге, засыпав комьями земли и листьями.

Это была первая любовь Никитина на войне, если можно было назвать ее любовью.

«Скоро постучат в дверь – и все кончится...»

– Name, Name... mein, Name Emma, – говорила она, смеясь, и легким указательным пальцем надавливала в свою грудь, потом в его, допрашивала с ласковым пытливым лукавством: – Bitte schon, Name... Jwan? Johann? Russisch heist Peter? Name...

– Вадим, – ответил он, поняв, что она спрашивала.

– Vadi-im, – произнесла она протяжно и обрадованно засмеялась, снова приложила щепотку пальцев к его и своей груди (так делала она тогда на допросе), выговаривая по слогам: – Va-di-im, Em-ma, Va-dim, Em-ma... Verstehst du?³⁷ Va-di-im, – повторила она и полуоткрытыми вспухшими губами мягко потерлась о его губы, и ее вымытые волосы щекочуще заскользили по лицу Никитина, обдавая конфетной и непросохшей свежестью. – Em-ma, Vadi-im...

– Эмма, – сказал он шепотом и в звенящем дурмане вновь почувствовал, как ее длинное тело все плотнее, все гибче прижимается к нему, и рука ищет, нетерпеливо тянет его руку к гладкой, нежной коже затвердевшей маленькими сосками груди, и уже, не сопротивляясь самому себе, окунаясь в волнистый знойный туман, он с желанием испытать то, что было

³⁷ Понимаешь?

несколько минут назад, начал целовать сквозь раздвинутые губы влажные зеркальца ее стиснутых зубов, ее в истоме последнего прикосновения выгнутую назад шею... а потом они лежали, утомленные, окутанные горячей пеленой, и, закрыв глаза, он улавливал в сознании нечеткие отблески тревоги:

«Что это со мной? Почему это со мной? Как это со мной случилось?»

Он понимал, что с ним происходит что-то нереальное, отчаянное, похожее на предательство, на преступление, совершенное во сне, на недопустимое нарушение чего-то, будто он необдуманно переступает и переступил негласно запретную границу, которую в силу многих обстоятельств не имел права перейти.

«Если об этом утре станет известно в батарее, то как им объяснить? Что им ответить?.. Что же теперь?.. Как странно, непонятно и как прекрасно случилось это! Теперь... что же теперь? – думал он в обволакивающей дреме, в каком-то физическом опустошении, не находя ясной логики, что могла бы с рассудительной точностью объяснить, как все случилось, от какого момента и зачем случилось. – Нет, я офицер, и я должен отвечать за то, что делаю... Я никого не предал, и поэтому неважно, что будет потом со мной. Эмма, Эмма... Ей надо уходить. Скоро постучат в дверь – и все кончится...»

6

– Входите, Ушатиков! Что, скоро завтрак?

– Поздравляю, товарищ лейтенант!

– Это вы, Меженин? С чем? Война кончилась?

– А вот какое утро, товарищ лейтенант. Солнышко светит, как в сказке, птицы поют, тишина – рай земной, а насчет конца войны – сообщений не поступило. Хорошо спали?

– Прекрасно спал, несмотря на то, что проиграл вам вчера в карты. Где Княжко?

– На дворе. Рано пришел. Самолично готовится физзарядку с батареей проводить. Вроде занятий по строевой. Вот принес вам горячей воды – бриться.

– Спасибо за воду. Немного неясно: почему вы Ушатикова заменили? Он что?

Сержант Меженин, умытый, выбритый до отшлифованной чистоты щек, подчеркнута услужливо поставил котелок на подоконник, его светлые глаза невинно посмотрели на Никитина, точно между ними этой ночью ничего не произошло, глянули на смятую постель и приглушенно помертвели. Никитин спросил официально:

– Вы хотели что-то доложить?

– Разговор личный есть, товарищ лейтенант, – лениво, без особой охоты проговорил Меженин. – Насчет вчерашнего. Объяснить надо. Дрозда вы вчера дали крепко. Бросились на меня чертом, еще чуток – и пистолет бы обнажили, а это дело не так было, как вам померещилось.

Никитин натянул хромовые сапоги, пристукнул каблуками об пол, не выявляя нужного интереса к объяснению Меженина.

– То есть? Как мне померещилось?

– Когда я на шумок пошел и ее застучал у гардероба, немочку, финтифлюшку эту рыженькую, – продолжал скучно Меженин, из-под заграды ресниц поглядывая на постель, – она в слезы от страха, видать, схватила меня за руку и к кровати потащила сразу, мокрохвостка фрицевская. Завалила на себя, ну а тут вы... И привиделись вам сказки, страсти-мордасти. Вот так было...

Меженин невозмутимо лгал, но в этой лжи не было и намека на оправдание или вину его.

– Хотите рассказать мне сказки, сержант? – проговорил Никитин и переменял направление разговора: – Что во взводе – в порядке?

– Как в аптеке, – ответил Меженин будничным голосом человека, не омраченного угрызением совести. – А немочка-то, а? Бодливая козочка с копытцами. Сама орет «нейн», а сама на себя валит. Видать, немецкие бабы за все хотят одним расплатиться. А вы не разобрались. Насчет этого щекотливого дела вы, откровенно скажу, человек малоопытный.

Еще вчера почти ненавидевший Меженина, почти решивший ничего не прощать ему после отвратительной сцены здесь, в своей комнате, Никитин, краснея, отвернулся, его ожег внутренний жар стыда, он не хотел возвращаться к тому неприятному, что было между ними, к той неприятной границе неполной справедливости, которая, мнилось, разделила и в чем-то порочно и тайно сблизила его с Межениным, и, преодолевая эту угнетающую непоследовательность, он ответил насколько возможно спокойней:

– Все, Меженин, это в последний раз. Я не хочу помнить. На этом закончим. Можете идти. Я спущусь через пять минут.

Однако Меженин не уходил; тогда Никитин подошел к зеркалу над комодом и, принимая занятый вид, пощупал щеки, как это делают перед бритьем, но тотчас краем зрения заметил в зеркале нагло-дерзкую полуухмылку Меженина, показавшуюся из-за двух передних попорченных зубов лишней, чужой на его полноватом красивом лице. И Никитин словно ощутил тупой толчок в затылок, спросил:

– Что еще, Меженин?

– Да так, товарищ лейтенант...

– Что именно?

– Да с виду вы плохо ночь спали, – сказал Меженин и дрожанием ресниц будто завесу дернул с жестковато сверлящих глаз, достигших зрачков Никитина в зеркале. – Синячки у вас под веками, вид усталый, никак бессонница, а?.. Вы посты у орудий не проверяли утром, товарищ лейтенант? Из комнаты не выходили?

– Утром? Нет. А что такое?

– Сказки получаются. Чудеса-а!

– Какие сказки еще? Какие чудеса?

Лицо Меженина, уверенное, проясненное, перестало ухмыляться, голос его зазвучал позади тоном обыденного доклада – и в нем слабеньким оттенком сквозила мягкая издевка:

– Вместе с солнышком я сегодня встал, товарищ лейтенант, чтобы часовых проверить и заодно немчишек – на всякий случай. Подымаюсь по лестнице вот сюда, к их комнате, рядом с вашей, слушаю – никакого шебуршения. Глянул в дверь, не заперта, а в комнате – никого. И слышу, товарищ лейтенант, из вашей комнаты, – голос Меженина набрал полную меру вкрадчивого удивления, – из вашей комнаты, похоже, шепот какой-то, смех и разговор по-немецки... Думаю себе: что такое?..

Никитин, вспыхнув, обернулся, кинул пушистый от мыла помазок в кружку и, этой неудержанной вдруг вспышкой стряхивая темную тяжесть с затылка, что не проходила, когда говорил за спиной Меженин, спросил возмущенно:

– И что? Что вы подслушали?.. Стояли за дверью и подслушивали, как я вслух заучивал немецкие слова? *Ich weiß nicht, was soil es bedeuten?*³⁸ Так? («Что я – оправдываюсь перед ним? Я лгу – и оправдываюсь?») И что еще вы подслушали?

Меженин сонно сощурился в переносицу Никитину, разом заскучав замутненным взглядом, не возразил ни единым словом, и тот мгновенно подумал, что за этой внешней непробиваемостью стоит непрощающая память сержанта, подготовленно и рассчитанно взвесившая все, что произошло вчера между ними.

– Ну и что вы хотите сказать, Меженин?

³⁸ Я не знаю, что это такое?

– Выходит так, товарищ лейтенант, немочку вы у меня отбили, – проговорил Меженин, не придав никакого значения вспышке Никитина. – Квиты мы вроде с вами. Квиты, да не совсем.

– А если яснее! В чем мы с вами квиты?

Меженин, вприщур изучая переносицу и лоб Никитина, заговорил после недолгого раздумья:

– Да вот мысль пришла, товарищ лейтенант, как бы это сказать? За связь с немочкой офицера по шерстке не поглядят. Разложение приклепают. В штрафной загреметь можно. Но я мужское дело понимаю. Шито-крыто, завязано. Только, за-ради господ бога, предупреждаю: не давите вы меня. Не терплю, не люблю я узду, сами знаете. Характер такой. Это я тоже по-мужски говорю. Война вон большой шапкой накрывается. Конец скоро! Тихо, мирно доживем, довоюем как-нибудь.

Он говорил однотонно, неоспоримо, как говорят независимые люди, убежденные в своей силе, не сомневаясь, что их правильно поймут, и в самоуверенности его был опыт потертого обо все острые жизненные углы человека, готового не осложнять положение при взаимных условиях. И Никитин, уже теряя выдержку, все-таки спросил со злым любопытством:

– Значит, я во всем мешаю вам, сержант?

– По-мужски говорю, – скучно повторил Меженин. – Так лучше будет жить, товарищ лейтенант. Обещаю законно, один на один – спокойненько буду вам подчиняться, а уж вы в дела некоторые мои не суйтесь.

– Какие дела?

– Да мало ли какие, – ответил Меженин неожиданно закаменелым голосом. – Речка между нами протекает, товарищ лейтенант. Вы на этом берегу, а я – на том. Давно переплыл я ее. И, будь здоров, по ноздри нахлебался. А вы еще не поплавали. Не хлебнули сполна. По травке, как в детстве, бегаєте, хоть и воюете, как штык. А разного-всякого ни хрена не чуяли. Вот об этом дела. Малец вы против моей жизни. Откровенно говорю. Так что – не мешайте!

– Слушайте, сержант! – не сдержавшись, выговорил Никитин. – Мало того, что вы под дверь шпионили, подслушивали, как старая баба, вы еще угрожаете мне! Так вот знайте: никаких ваших «спокойненьких» дел, вроде житомирских, не будет! Идите во взвод! Вам ясно? Идите!

Меженин сокрушенно смежил ресницы, подвигал по скулам желваками, отчего маленькие, по-женски красивые уши его, казалось, зверовато прижались, предупредил дремотным тоном сожаления:

– Глядите, товарищ лейтенант, не обожгитесь об меня. Раскаленный я бываю, тогда сам себя боюсь. Хотел мужской разговор поиметь с вами. А вы мне старое вспомнили. Забыл я старое...

– Хотите, чтобы я вспомнил вчерашнюю ночь?

– Ссориться со мной не надо, лейтенант. Нужный я вам человек. А насчет вчерашнего – темненькое это... Ночью-то все кошки серы. Померещилось вам. В голову все может прийти, ни одна душа не видела. А у меня глаза есть. Бог свидетель...

Меженин, скромненько вздыхая, изобразил знак крещения, глянул намекающе на смятую постель, потом вроде бы нехотя повернулся и, раскачиваясь, вышел.

Он вспыллил, не выдержал этой невозмутимой самоуверенности Меженина, его незастенчивой циничности, этой предложенной им полусделки-полусговора, что само по себе подтверждало наивную слабость Никитина; Меженин безнаказанно мстил ему за вчерашнюю ночь и вместе за прошлое, за Житомир, хотя впрямую разговор и не касался старого, кроме одной фразы: «А вы мне старое вспомнили...»

«Старое» было в сорок третьем. Да, Никитин хорошо помнил то раннее туманное ноябрьское утро, когда немцы начали контратаковать и охватывать танками еще спящий город, помнил, как он получил срочный приказ командира батареи выдвинуться к западной окраине,

занять новую позицию на танкоопасном направлении. С этим приказом вернувшись во взвод, он не обнаружил Меженина возле орудий. Он нашел его в одном из домов, близ огневых, где размещались на ночь, – пьяного, безобразно опухшего, без гимнастерки, в обнимку с какими-то двумя молодыми женщинами, сидевшими за столом, хаотично заставленным грязными тарелками, порожними бутылками, банками консервов, сплошь заваленным плитками французского шоколада, кругами трофейной колбасы.

Вслед за Киевом Житомир взяли с ходу, немцы не успели вывезти продуктовые запасы, и батарея, поддерживая стрелковый полк, продвигалась мимо вокзала и первой наткнулась на оставленные склады в пакгаузах.

И тогда утром, найдя Меженина не во взводе, а в соседнем от огневых позиций доме, Никитин, не очень удивленный, приказал ему немедленно привести себя в порядок, умыться, одеться и идти за ним к орудиям. Однако Меженин, не дослушав его, шумно вздымаясь шатким телом из-за стола, вытолкнул навстречу ему визгливо захихикавшую, полураздетую женщину с черными непричесанными волосами, крикнул:

«Ты – интеллигент, лейтенант! Выпей-ка с нами и по-интеллигентски вот эту чернявую бабку попробуй, она в немецком госпитале работала, все знает! Небось бабу ни разу в жизни не трогал! Веди ее в другую комнату, не робь, лейтенант!»

Он захохотал, в горле его буйно заклокотало, и Никитина передернуло.

«Я жду, – сказал он. – Жду на крыльце пять минут. Быстро собирайтесь, Меженин».

Он ждал на крыльце, он еще верил, что сейчас выйдет за ним многоопытный Меженин, который знал – независимо ни от чего никто не был во власти отменить или изменить полученный приказ о выдвижении взвода на танкоопасное направление.

Но Меженин не вышел и через десять минут, и, еле осиливая нетерпеливую злость, Никитин снова вошел в комнату, душную от запахов водки, пота, жирных мясных консервов, опять с отвращением увидел блаженно-хмельное лицо Меженина, все так же без гимнастерки, в несвежей нижней рубаше, все так же сидевшего в обнимку с двумя женщинами; одна из них, черненькая, непричесанная, что давеча хихикала неприятно, визгливо, взасос целовала в разрез рубашки волосатую грудь Меженина, другая, крупная, широкоскулая, сипло шептала что-то ему на ухо, в то же время украдкой нажимала туповатыми пальцами на плитку шоколада, разламывая ее на столе.

«Меженин! – крикнул Никитин, чувствуя, что присутствует при совершающейся открытой мерзости, уже ненавидя это сизое, блаженное лицо Меженина и этих двух женщин, потных, полураздетых, неопрятных. – Марш отсюда, Меженин! Получен приказ – двигаться! Вы слышали, что я сказал?»

«Куда во взвод? Куда двигаться? – выговорил Меженин, закатывая глаза, как от щекотки. – Киев взяли, Житомир взяли, лейтенант! Не заслужили, что ли, гульнуть разок? Заслуж-жили кр-ровью, и точка! Говорю, бери черненькую, лейтенант! Я не жадный! Или уходи, не мешай людям, по-мужски говорю!»

«Если вы через десять минут не появитесь во взводе, – сказал Никитин, – я отдам вас под суд».

«Да хоть расстреляй! – заорал дурным голосом Меженин и, куражась, вскочил, рванул на груди давно не стиранную рубашку. – Расстреляй! А сначала хочу в раю побывать!»

Позднее Никитин не мог без содрогания вспоминать неестественность собственного положения, те слова о суде, грязную полутемную комнату, напитанную запахом еды, нечистого белья, и выпирающее бесстыдство женщин, дурашливо пьяный крик и хохот Меженина, или не желавшего, или переставшего понимать реальность обстановки.

Меженин пришел во взвод лишь вечером, после боя, весь отекий, мертвецки-синий, сказал Никитину: «Моя вина, лейтенант. Все, завязал!» Потом, посмеиваясь, заявил солдатам, что пробыл в медсанбате по причине отравления фрицевскими консервами и болезни

желудка, а Никитин, почти необъяснимо промолчав, долго пытался убедить себя впоследствии, что простил Меженину страшное прегрешение на войне только потому, что взвод тогда не понес потерь, и потому, что Меженин не был трусом, считался лучшим командиром орудия в батарее.

Но то, что сейчас Меженин с едкой циничностью пошел на обострение отношений, приглушенных Никитиным, было, по-видимому, явным результатом двух прожитых неправдоподобно благостных и разлагающих суток вдали от войны, без ежеминутной опасности, когда всеми ожидалось: вот-вот нечто огромное должно измениться на земле, навсегда ослепить радостной синевой завоеванного и возвращенного мира, счастливым началом вечного праздника, обещающим новую, нескончаемую жизнь, к которой каждый испытывал жадность по-разному.

«Что же мне делать? – думал Никитин, торопливо бреясь. – Я тоже нечист, я тоже в чем-то замешан... Со мной тоже случилось какое-то безумие?..»

Вся батарея была построена на лужайке; вокруг зеленела трава, везде сильно грело солнце, весенние запахи обогретой травы, цветущей вдоль забора сирени, белых яблонь то прохладными, то теплыми волнами ходили в утреннем воздухе, и эти запахи будто обмыли Никитина, когда он подошел к строю.

Лейтенант Княжко заканчивал физзарядку, что называлась особой, «пехотной», физзарядкой, порой применяемой им на отдыхе, – рукопашный и штыковой бой, приемы его, ни разу не использованные в батарее ни одним солдатом на передовой, ни самим Княжко, были, по его убеждению, необходимой тренировкой для физической закалки тела, заученной еще в пехотном училище.

Княжко, голый до пояса, стоял на краю лужайки у принесенного (по его приказу) из города и воткнутого в землю рекламного щита, где изображалась гигантская бутылка пива, опрокинутая над кружкой, вождельно кипевшей шапкой пены, и, держа винтовку с примкнутым штыком, говорил внушительно маленькому рыжему Таткину:

– Что у вас за движения? Как бегаете? Как держите винтовку? Мускулы дряблые, плечи опущены, смотреть на вас неприятно. Убрать живот, грудь развернуть, спину выпрямить! Посмотрите, как это делается!

Княжко втянул и без того плоский живот, слегка развернул плечи, и его тонкая, прямая, мускулистая фигурка налилась изящной упругостью силы, гибкой и литой собранностью. Точно мальчик в гимнастическом зале проверял послушность развитых мышц перед упражнением.

Низкорослый Таткин, лоснясь на солнце белокожей спиной и безволосой грудью, усиливался подтянуть ремнем складку отвислого животика, вбирал шумными вдохами воздух, несколько сконфуженный, и всегда хитроватое, подсчитывающее что-то, усатое личико его выражало серьезность попытки. Было известно, что наводчик Таткин, бывший счетовод, постоянно считал, высчитывал про себя, выверял все, что поддавалось какому-либо исчислению, неизменно делил на порции хлеб, взводный табак и сахар, цепко держал в голове количество не выданных старшиной сухарей, количество выстреленных снарядов, подбитых танков, полученных батареей орденов и медалей, и, зная эту его арифметическую способность, солдаты, возбужденные физзарядкой, весело наблюдали за ним из строя, беззлобным смешком и советами подбадривали:

– А ты на счетах отщелкай, Таткин, на сколько сантиметров комод подтянуть можно! Отрастил передний предмет на вольных харчах!

– Пузом не дыши, сатана рыжий! Ишь, пыхтит быком! Всех задерживаешь, ты носом, носом, ноздрей дыши, ровно коза!

Лейтенант Княжко на эти замечания холодно мелькнул зелеными глазами по батарее, и развеселые голоса солдат утихли разом при его команде:

– Самых знающих попрошу выйти из строя и показать Таткину последнее упражнение – бросок в атаку!

Никто из «знающих» не выходил из строя, никто не вызвался показать бросок в атаку, трезвым ветерком смыло на лицах запоздалые улыбки; и тогда Княжко приказал поежившемуся от звука его голоса Таткину:

– Еще раз! Вложить в атаку ярость, уверенность и силу! И лицо, лицо, ваше лицо должно напугать того, кого вы атакуете! Ясно? Еще раз! Держите!

И молниеносным броском передал винтовку Таткину, тот неловко поймал ее захватом на грудь, крикнул, выставил штыком в наклон и затрусил, заколыхался рысцей вдоль строя по молодой траве лужайки.

– Стоп! – крикнул недовольный Княжко, подбегая к Таткину, и выхватил у него винтовку. – Отставить! Ваше счастье, что вы в артиллерии, а не в пехоте! Сходили бы в атаку только раз! И – конец, Таткин! Смотрите сюда! Всем смотреть сюда и запоминать! – громко скомандовал он батарее, и в один миг все весеннее и солнечное потускнело, изменилось здесь, на зеленой лужайке, вернее – изменилось, потеряло свои прежние черты лицо Княжко, оно стало страшным, искаженным злостью, свирепой одержимостью напора, его тело упруго и резко наклонилось вперед, винтовка в его руках, нацеленная жалом штыка в пространство враждебного мира, замерла в изготовленном смертном положении, – и он стремительными прыжками ринулся по лужайке к рекламному щиту, жутко крича что-то горлом нечленораздельное, вызывающее у Никитина мороз по спине.

Рекламный щит был уже в двух прыжках от сверкающей иглы штыка, и Княжко достиг его, изогнулся вправо, влево, его тонкий мускулистый торс напрягся в убыстренном скольжении, он косым и ловким выбросом вонзил острие штыка в середину рекламы, выдернул штык, вновь изогнулся, как бы уклоняясь от кого-то, и ударил сильно прикладом по краю щита, с треском валя, опрокидывая его на землю. Был все-таки в этой воображаемой борьбе некий невнятный момент, какая-то неясная грань, когда это действие могло показаться смешным Никитину, ненужной игрой в праздные упражнения, но вместе с тем в движениях Княжко была такая артистическая сила ненависти, такая пугающая ярость схватки, что возникло ощущение стальной пружинки, смертельно подвластной ему в этом броске.

– Ясно? – крикнул Княжко, обращаясь не к Таткину, а ко всей батарее, и мальчишеское лицо его приняло прежнее выражение холодноватого спокойствия, чуть упрямого, не разрешающего фамильярности высокомерия. – На этом закончим сегодня! А завтра повторим! Всем разойтись!

Он воткнул винтовку штыком в землю.

«Я знаю, зачем он это делает, – подумал Никитин. – Но почему я смотрю на Княжко, и мне кажется, что все скоро кончится не так, как мы хотим?»

Батарея, оживленная разговором, смехом, рассыпалась между тем по лужайке, забелели в сквозистой тени сосен, среди яркой зелени незагорелые спины; иные кинулись умываться к водопроводной колонке под кустами сирени возле ограды, иные легли на траву, блаженно окунувшись в ее теплый пресный запах, не спеша закуривали трофейные сигареты, ожидая час завтрака, а кухня уже безмятежно курилась легчайшим дымком за снежной кипенью яблонь около дома, и повар, багровый от пахучего пара, орудовал, помешивал черпаком в котле.

«Как же все это со мной?.. – думал Никитин, глядя на водопроводную колонку, где умывался Княжко, окруженный солдатами. – И все случилось сегодня как в бреду, но было, было, а я не могу представить, что было у нас. Мы оба хотели этого? И она и я? И Меженин знает, что случилось?»

В это время сержант Меженин ленивой развалкой подошел к воткнутой в землю винтовке, его плечи, отлакированные солнцем, маслились потно, синяя татуировка выделялась

распростертыми крыльями орла на волосатой его груди; он выдернул винтовку, почистил штык о траву.

«Так что же будет дальше?» – опять подумал Никитин и в тот момент, когда Меженин кончил чистить штык, вдруг перехватил мимолетно сощуренный взгляд сержанта на верхнем окне дома. И Никитин взглянул туда. Там за стеклом полукруглого окна мансарды, у края занавески, светлеющим силуэтом стояла Эмма и смотрела вниз. Он увидел ее неотчетливо, как в жидком туманно, и тут же острое сознание несоединимой расколотости, разъединенности между ним и ею, сознание случившейся, невозможной, сделанной сегодня ошибки знобящим уколом прожгло его, будто тайно предал самого себя перед всеми...

Она, немка, была там, во враждебном мире, который он не признавал, презирал, ненавидел и должен был ненавидеть, по которому он три года стрелял, испытывая неистовое счастье от одного вида охваченных дымом подбитых танков, она была в том мрачном, чужом, отвергаемом им мире, заставлявшем его после каждого боя хоронить своих солдат в заваленных прямыми попаданиями ровиках, писать самые трудные письма, эти объяснения, эти оправдания командира взвода, по выбору обманчивого топорика смерти оставшегося в живых. Она была там, на другом берегу, за разверстой пропастью, а он был на этом берегу, залитом кровью, и ничто не давало ему права, ничто не позволяло ему хотя бы на минуту забыть все и перекинуть жердочку на ту опасную противоположную сторону, где было недавно раннее утро, лавандовый запах ее вымытых волос, ее шершавые губы. «Как это получилось? Зачем же это получилось у меня? Я не прощу себе...»

Да, она была там... И она почему-то стояла за краем занавески в окне мансарды и, заслоня глаза от солнца, смотрела вниз, на блещущую травой лужайку, где ходили, лежали, курили, шумно умывались под колонкой солдаты и где был он, среди своих, родственно связанный с ними всей судьбой, войной, всей жизнью и отъединенный от нее этим солнечным оконным стеклом, сочной лужайкой, утренними разговорами солдат и невероятно тихим немецким городом, куда они пришли из Берлина через огромный, враждебный, убивающий мир.

– Наблюдает немочка-то, а? – сказал безвинно Меженин, проходя мимо Никитина, и, так же безвинно подмаргивая, помахал ей рукой. – Ишь глазеет на русских, бесенок. На вас глазки пялит, товарищ лейтенант. Или шпионит немочка?

А она сверху заметила его жест, вспугнутой тенью отпрянула, исчезла в проеме окна, колыхнулась тюлевая занавеска, и тотчас знойными спиральками в голове Никитина пронеслось: «Вади-им, Ва-ди-им», – он сделал усилие над собой, голосом приказа сказал:

– Вот что, Меженин. Сегодня позавтракать, накормить людей без пива, ясно? Через час – взвод к орудиям. Проведем занятие. Заниматься будем каждый день.

– Яснить, – ответил Меженин, и в покорном подрагивании его ресниц таилось насмешливое согласие: я-то уж понимаю все.

«Нет, не все! Все кончено с этим!» – решенно подумал Никитин, овеянный чувством внезапного освобождения от чего-то недозволенного, поневоле совершенного им, мутно угнетающего его, и быстрыми шагами направился к Княжко, а тот, окатив себя водой до пояса, расхаживал подле плещущей струи колонки, осажденной солдатами, тщательно растирал полотенцем мускулистый покрасневший торс.

– Я любовался на тебя, Андрей, – сказал Никитин. – Просто отлично! Пехота в тебе еще сидит.

– Детские игрушки, – ответил пренебрежительно Княжко и, недовольный, заговорил: – Марки, трофеи, карты, «двадцать одно», убиваем время, жиреем и начинаем разлагаться. И знаешь почему? Все конца ждут, а конца нет. Зашвырнули нас куда-то на кулички от Берлина. А смысл? Неясен. Тем более – на западе бои. Как наши новоиспеченные хозяева? Курт, значит, ушел? А эта Эмма осталась? – спросил Княжко. – Ты знаешь?

– Да. Ушел. В Гамбург, – сказал Никитин и сейчас же перевел разговор: – Рацию слушал? Что нового? Как там?

– В Берлине – никаких изменений, – ответил Княжко.

Перед завтраком проверяли огневые.

Позиция батареи начиналась в ста пятидесяти метрах от дома – орудия были врыты на краю поля за оградой яблоневого сада, – и они шли к огневым в полной тишине приозерного луга, еще росного, влажно-пахучего, трава сочно хлестала по сапогам, шли, как бывало когда-то давным-давно на подмосковных дачах, и Никитин, опьяненный этим утренним покоем открытых впереди голубоватых далей, солнцем, запахами согретой земли, струистым парком над озером, первым нарушил молчание:

– А вообще не верится, что не кончилась. Когда же, Андрей? Через две недели? Через месяц?

– Тогда, когда кончится, – резко ответил Княжко и приостановился, раздумчиво вглядываясь в земляные бугры недалекой огневой позиции. – Вот тебе ответ на твой вопрос: часового на батарее не вижу. Полнейшее курортное настроение у всех.

– Это началось в первый день, – сказал Никитин. – А что сделаешь, Андрей? Все чувствуют, что скоро...

– И твой часовой тоже? Где он?

Но Княжко ошибся: часовой находился на огневой позиции, полудремотно лежал посреди снарядных ящиков в нише, глаза и лоб прикрыты от солнца пилоткой, автомат покоился около ног, ремень распушен на животе. Заслышав рядом шаги, он подтянул ноги, сел, закрутил головой, громко откашлялся, давая о себе знать, на всякий случай угрожающе окликнул:

– Стой, кто идет? – И неудержимо заулыбался во всю ширину разомлевшего потного лица. – А, товарищи лейтенанты! А я слышу – сюда никак...

– Снов не видели, Ушатиков? – поинтересовался Княжко бесстрастным голосом. – В горизонтальном положении мне, например, всякая дьявольщина снится. Какая, спросите? Ну, скажем, что часового вместе с орудиями и снарядами немцы украли. Возможно, Ушатиков?

– Не-е, не спал я, товарищ лейтенант, на солнышке чуток после росы подзагорал, очень ласковое солнышко-то, – еще добродушнее расплылся Ушатиков. – Откуда? Какие немцы-то? И не шелохнутся теперь. Берлин как-никак наш, дураки они, что ли? Во, товарищ лейтенант, что сержант Меженин мне подарил, время в аккурат буду знать. Трофе-ей!

И, чрезвычайно счастливый, он выставил на запястье часы, пленительно сияющие стеклом и никелем, послушал их, после чего удивленно сообщил шепотом:

– Тикают себе, фрицы, и тикают. И чего они тикают?

– Дети какие-то, – дернул плечом Княжко, хотя сам был, видимо, моложе Ушатикова года на два, и, сказав, опустился на станину, посмотрел своими серьезными неулыбчивыми глазами на ниточку шоссе за озером, по которому в белесой дымке пыли двигались к лесу машины из городка. Спросил; – У вас что – первые часы за войну, Ушатиков?

– Не было у меня, мечтал я... – ответил длинношей Ушатиков и осторожненько, рукавом гимнастерки смахнул невидимые пылинки со стекла часов, протер никелированный ободок циферблата любовно. – А непонятное это дело – часы, ума не приложу. Крохотные колесики там крутятся. Живое все. Как дыхание в них. И идут себе, идут. Навроде крохотные человечки в них работают молоточками. А зачем людям время показывать, товарищ лейтенант? Вот интересно... Без него жить можно или нельзя? День так день, ночь так ночь. Зачем это все люди придумали? Чудно!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.